АНДРЕЕВ Л.Н.

**МЫСЛЬ**

*Современная трагедия в 3-х действиях*

*и 6 картинах*

 Посвящаю

 Анне Ильинишне Андреевой

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

 Антон Игнатьевич Керженцев,

 доктор медицины.

 Крафт, бледный молодой человек.

 Савелов Алексей Константинович, известный

 писатель.

 Татьяна Николаевна, его жена.

 Маша, сиделка в больнице для умалишенных.

 Федорович, писатель.

 Семенов Евгений Иванович, психиатр,

 профессор.

 Доктора в больнице:

 Иван Петрович

 Сергей Сергеевич

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Богатый кабинет-библиотека доктора Керженцева.

Вечер. Горит электричество. Свет мягкий.

 В углу клетка с большим орангутангом, который сейчас спит; виден только рыжий шерстистый комок. Полог, которым обычно закрывается угол с клеткой, отдернут: спящего рассматривают Керженцев и очень бледный молодой человек, которого хозяин зовет по фамилии: Крафт.

 Крафт. Он спит.

 Керженцев. Да. Так он спит теперь по целым дням. Это третий орангутанг, который умирает в этой клетке от тоски. Зовите его по имени: Джайпур, у него есть имя. Он из Индии. Первого моего орангутанга, африканца, звали Зуга, второго - в честь моего отца - Игнатием. (Смеется.) Игнатием.

 Крафт. Он играет... Джайпур играет?

 Керженцев. Теперь мало.

 Крафт. Мне кажется, что это тоска по родине.

 Керженцев. Нет, Крафт. Путешественники рассказывают интересные вещи про горилл, которых им доводилось наблюдать в естественных условиях их жизни. Оказывается, гориллы так же, как и наши поэты, подвержены меланхолии. Вдруг что-то случается, волосатый пессимист перестает играть и умирает от тоски. Так-таки и умирает недурно, Крафт?

 Крафт. Мне кажется, что тропическая тоска ей страшнее, чем наша.

 Керженцев. Вы помните, что они никогда не смеются? Собаки смеются, а они нет.

 Крафт. Да.

 Керженцев. А вы видали в зверинцах, как две обезьяны, поиграв, вдруг затихают и прижимаются друг к другу - какой у них печальный, взыскующий и безнадежный вид?

 Крафт. Да. Но откуда у них тоска?

 Керженцев. Разгадайте! Но отойдем, не будем мешать его сну - от сна он незаметно идет к смерти. (Задергивает полог.) И уже теперь, когда он долго спит, в нем наблюдаются признаки трупного окоченения. Садитесь Крафт.

Оба садятся к столу.

 Будем играть в шахматы?

 Крафт. Нет, сегодня мне не хочется. Ваш Джайпур расстроил меня. Отравите его, Антон Игнатьевич.

Керженцев. Незачем. Сам умрет. А вина, Крафт?

Звонит. Молчание. Входит слуга Василий.

 Василий, скажи экономке, чтобы дала бутылку Иоганисберга. Два стакана.

Василий выходит и вскоре возвращается с вином.

 Поставь. Пейте, пожалуйста, Крафт.

 Крафт. А вы что думаете, Антон Игнатьевич?

 Керженцев. О Джайпуре?

 Крафт. Да, о его тоске.

 Керженцев. Много я думал, много... А как находите вино?

 Крафт. Хорошее вино.

 Керженцев (рассматривает бокал на свет). А год узнать можете?

 Крафт. Нет, куда уж. Я к вину вообще равнодушен.

 Керженцев. А это очень жаль, Крафт, очень жаль. Вино надо любить и знать, как все, что любишь. Вас расстроил мой Джайпур - но, вероятно, он не умирал бы от тоски, если бы умел пить вино. Впрочем, надо пить вино двадцать тысяч лет, чтобы уметь это делать.

 Крафт. Расскажите мне о Джайпуре.

Садится глубже в кресло и опирается головой на руку.

 Керженцев. Здесь произошла катастрофа, Крафт.

 Крафт. Да?

 Керженцев. Да, какая-то катастрофа. Откуда эта тоска у обезьян, эта непонятная и страшная меланхолия, от которой они сходят с ума и умирают в отчаянии?

 Крафт. Сходят с ума?

 Керженцев. Вероятно. Никто в животном мире, кроме человекоподобных обезьян, не знает этой меланхолии.

 Крафт. Собаки часто воют.

 Керженцев. Это другое, Крафт, это страх перед неведомым миром, это ужас! Теперь всмотритесь в его глаза, когда он тоскует: это почти наши человеческие глаза. Всмотритесь в его общую человекоподобность... мой Джайпур часто сидел, задумавшись, почти так, как вы сейчас... и поймите, откуда эта меланхолия? Да, я часами сидел перед клеткой, я всматривался в его тоскующие глаза, я сам искал ответа в его трагическом молчании - и вот мне показалось однажды: он тоскует, он грезит смутно о том времени, когда он также был человеком, царем,

какой-то высшей формой. Понимаете, Крафт: был!

Керженцев поднимает палец.

 Крафт. Допустим.

 Керженцев. Допустим. Но вот я смотрю дальше, Крафт, я смотрю глубже в его тоску, я уже не часами, я днями сижу перед его безмолвными глазами - и вот я вижу: или он уже был царем - или же... слушайте, Крафт! или же он мог им стать, но что-то помешало. Он не вспоминает о прошлом, нет, - он тоскует и безнадежно мечтает о будущем, которое у него отняли. Он весь - стремление к высшей форме, он весь - тоска о высшей форме, ибо перед ним... перед ним, Крафт, - стена!

 Крафт. Да, это тоска.

 Керженцев. Это тоска, вы понимаете, Крафт? Он шел, но какая-то стена преградила его путь. Понимаете? Он шел, но какая-то катастрофа разразилась над его головой - и он остановился. А может быть, катастрофа даже отбросила его назад - но он остановился. Стена, Крафт, катастрофа! Его мозг остановился, Крафт, - и с ним остановилось все! Все!

 Крафт. Вы опять возвращаетесь к вашей мысли.

 Керженцев. Да. Есть что-то ужасное в прошлом моего Джайпура, в тех мрачных глубинах, из которых вышел - но он не может рассказать. Он сам не знает! Он только умирает от невыносимой тоски. Мысль! - да, конечно, мысль!

Керженцев встает и ходит по кабинету.

 Да, та мысль, силу которой мы с вами знаем, Крафт, вдруг изменила ему, вдруг остановилась и стала. Это ужасно! Это ужасная катастрофа, страшнее потопа! И он покрылся: волосами снова, он снова стал на четвереньки, он перестал смеяться - он должен умереть от тоски. Он развенчанный царь, Крафт! Он экс-король земли! От его царств осталось несколько камней, а где владыка, - где жрец, - где царь? Царь бродит по лесам и - умирает от тоски. Недурно, Крафт?

 Молчание. Крафт в той же позе, неподвижен. Керженцев ходит по комнате.

 Когда я исследовал мозг покойного Игнатия, не моего отца, а этого... (Смеется.) Этот также был Игнатием...

 Крафт. Почему вы второй раз смеетесь, говоря об отце?

 Керженцев. Потому что я не уважал его, Крафт.

Молчание.

 Крафт. Что же вы нашли, когда открыли череп Игнатия?

 Керженцев. Да, я не уважал моего отца. Послушайте, Крафт, - мой Джайпур скоро умрет: хотите, вместе исследуем его мозг? Это будет интересно.

Садится.

 Крафт. Хорошо. А когда я умру - вы посмотрите мой мозг?

 Керженцев. Если вы мне его завещаете, - с удовольствием, то есть с готовностью, хотел я сказать. Вы последнее время не нравитесь мне, Крафт. Вы, вероятно, пьете мало вина. Вы начинаете тосковать, как Джайпур. Пейте.

 Крафт. Не хочется. Вы всегда один, Антон Игнатьевич?

 Керженцев (резко). Мне никого не надо.

 Крафт. Мне сегодня почему-то кажется, что вы очень несчастный человек, Антон Игнатьевич!

Молчание. Крафт вздыхает и меняет позу.

 Керженцев. Послушайте, Крафт, я не просил вас говорить о моей личной жизни. Вы мне приятны, так как вы умеете думать и вас волнуют те же вопросы, что и меня, мне приятны наши беседы и занятия, но мы не друзья, Крафт, я прошу вас это запомнить! У меня нет друзей, и я их не хочу.

 Молчание. Керженцев подходит к углу, где клетка, отдергивает полог и слушает: там тихо - и снова возвращается на место.

 Спит. - Впрочем, могу вам сказать, Крафт, что я чувствую себя счастливым. Да, счастливым! У меня есть мысль, Крафт, у меня есть - вот это!

Несколько сердито постукивает пальцами по своему лбу.

 Мне никого не надо.

Молчание. Крафт неохотно пьет вино.

 Пейте, пейте. А вы знаете, Крафт - вы скоро услышите обо мне... да, через месяц, полтора.

 Крафт. Вы выпускаете книгу?

 Керженцев. Книгу? Нет, что за вздор! Я никакой книги выпускать не хочу, я работаю для себя. Мне люди не нужны - я, кажется, уже третий раз говорю вам это, Крафт? Довольно о людях. - Нет, это будет... некоторый опыт. Да, интересный опыт!

 Крафт. Вы не скажете мне, в чем дело?

 Керженцев. Нет. Я верю в вашу скромность, иначе и этого я не сказал бы вам - но нет. Вы услышите. Мне захотелось... у меня так сложилось... одним словом, я хочу узнать крепость своей мысли, измерить ее силу. Понимаете, Крафт: лошадь узнаешь только тогда, когда проедешь на ней!

Смеется.

 Крафт. Это опасно?

Молчание. Керженцев задумался.

 Антон Игнатьич, этот ваш опыт - опасен? Я слышу это по вашему смеху: у вас нехороший смех.

 Керженцев. Крафт!..

 Крафт. Я слушаю.

 Керженцев. Крафт! Скажите мне, вы серьезный молодой человек: вы осмелились бы на месяц, на два притвориться сумасшедшим? Постойте: не надеть маску дешевого симулянта - понимаете, Крафт? - а вызвать заклинанием самого Духа Безумия. Вы видите его: вместо короны - солома в седых волосах, и мантия его растерзана - вы видите, Крафт?

 Крафт. Вижу. Нет, я не стал бы. - Антон Игнатьич, это и есть ваш опыт?

 Керженцев. Может быть. Но - оставим, Крафт, оставим. Вы, действительно, серьезный молодой человек. Хотите еще вина?

 Крафт. Нет, спасибо.

 Керженцев. Милый Крафт, с каждым разом, как я вас вижу, вы все бледнее. Вы куда-то исчезали. Или вы нездоровы, что с вами?

 Крафт. Это личное, Антон Игнатьич. Мне также не хотелось бы говорить о личном.

 Керженцев. Вы правы, извините.

Молчание.

 Вы знаете Савелова Алексея?

 Крафт (равнодушно). Я знаком не со всеми его вещами, но он мне нравится, он талантлив. Я еще не читал его последнего рассказа, но хвалят...

 Керженцев. Вздор!

 Крафт. Я слыхал, что он... ваш друг?

 Керженцев. Вздор! Но пусть друг, пусть друг. Нет что вы городите, Крафт: Савелов талантлив! Таланты нужно хранить, таланты надо беречь как зеницу ока, и если он был талантлив!..

 Крафт. То что?

 Керженцев. Ничего! Он не алмаз - он только алмазная пыль. - Он - гранильщик в литературе! У гения и крупного таланта всегда острые углы, и савеловская алмазная пыль нужна только для гранения: блестят другие, пока он работает. Но... оставим всех Савеловых в покое, это неинтересно.

 Крафт. Мне также.

Молчание.

 Антон Игнатьич, вы не можете разбудить вашего Джайпура? Мне бы хотелось посмотреть на него, в его глаза. Разбудите.

 Керженцев. Вам хочется, Крафт? Хорошо, я разбужу его... если только он уже не умер. Пойдемте.

Оба подходят к клетке, Керженцев отдергивает полог.

 Крафт. Он спит?

 Керженцев. Да, он дышит. Я его бужу, Крафт!..

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

 Кабинет писателя Алексея Константиновича Савелова. Вечер. Тишина. За письменным столом своим пишет Савелов; в стороне, за небольшим столиком, пишет деловые письма жена Савелова, Татьяна Николаевна.

 Савелов (внезапно). Таня, дети спят?

 Татьяна Николаевна. Дети?

 Савелов. Да.

 Татьяна Николаевна. Дети спят. Уже ложились, когда я ушла из детской. А что?

 Савелов. Так. Не мешай.

 Снова тишина. Оба пишут. Савелов хмуро морщится, кладет перо и два раза проходит по кабинету. Заглядывает через плечо Татьяны Николаевны на ее работу.

 Что ты делаешь?

 Татьяна Николаевна. Я пишу письма относительно той рукописи, надо же ответить, Алеша, неловко.

 Савелов. Таня, пойди сыграй мне. Мне надо. Сейчас ничего не говори - мне надо. Иди.

 Татьяна Николаевна. Хорошо. А что сыграть?

 Савелов. Не знаю. Выбери сама. Иди.

 Татьяна Николаевна выходит в соседнюю комнату, оставляя дверь открытой. Там вспыхивает свет. Татьяна Николаевна играет на рояли. Савелов проходит по комнате, садится и слушает. Курит. Кладет папиросу, подходит к двери и издали кричит:

 Довольно, Таня. Не надо. Иди сюда! Таня, ты слышишь?..

 Молча расхаживает. Входит Татьяна Николаевна и внимательно смотрит на мужа.

 Татьяна Николаевна. Ты что, Алеша, тебе опять не работается?

 Савелов. Опять.

 Татьяна Николаевна. Отчего?

 Савелов. Не знаю.

 Татьяна Николаевна. Ты устал?

 Савелов. Нет.

Молчание.

 Татьяна Николаевна. Мне можно продолжат письма или оставить?

 Савелов. Нет, оставь! Лучше поговори со мной... но, может быть, тебе не хочется говорить

со мной?

 Татьяна Николаевна (улыбается). Ну, какие глупости, Алеша, как тебе не стыдно... смешной! Пусть останется, я потом допишу, не важно.

Собирает письма, Савелов ходит.

 Савелов. Мне сегодня совсем не пишется. И вчера тоже. Понимаешь, я не то чтобы устал, какой черт! - а хочется чего-то другого. Чего-то другого. Чего-то совсем другого!

 Татьяна Николаевна. Пойдем в театр.

 Савелов (останавливаясь). В какой? - Нет, ну его к черту.

 Татьяна Николаевна. Да, пожалуй, и поздно уже.

 Савелов. Ну его к черту! Ни малейшего желания идти в театр. Жалко, что дети спят... нет, впрочем, хочу и детей. И музыки не хочу - только душу тянет, от нее еще хуже. Чего я хочу, Таня?

 Татьяна Николаевна. Не знаю, голубчик.

 Савелов. И я не знаю. Нет, я догадываюсь, чего мне хочется. Садись и слушай, - ну? Мне надо не писать, - понимаешь, Таньхен? - а самому что-то делать, двигаться, махать руками, совершать какие-то действия. Действовать! В конце концов это просто невыносимо: быть только зеркалом, висеть на стене своего кабинета и только отражать... Постой: а это недурно бы написать печальную, очень печальную сказочку о зеркале, которое сто лет отражало убийц, красавиц, королей, уродов, - и так стосковалось о настоящей жизни, что сорвалось с крюка и...

 Татьяна Николаевна. И что?

 Савелов. Ну и разбилось, конечно, что же еще? Нет, надоело, опять выдумка, беллетристика, гонорар.Наш известный Савелов написал... к черту окончательно!

 Татьяна Николаевна. А я тему все-таки запишу.

 Савелов. Записывай, если тебе хочется. Нет, ты только подумай, Таньхен: за шесть лет я ни разу не изменил тебе! Ни разу!

 Татьяна Николаевна. А Наденька Скворцова?

 Савелов. Оставь! Нет, я серьезно говорю, Таня: это невозможно, я начинаю ненавидеть себя. Трижды проклятое зеркало, которое висит неподвижно и может отражать только то, что само захочет отразиться и проходит мимо. За спиной у зеркала могут совершаться изумительные вещи, а оно отражает в это время какого-то идиота, болвана, которому захотелось поправить галстух!

 Татьяна Николаевна. Это неверно, Алеша.

 Савелов. Ты решительно ничего не понимаешь, Татьяна! Я ненавижу себя - понимаешь это? Нет? Я ненавижу тот мирок, который живет во мне, вот тут, в голове - мир моих образов, моего опыта, моих чувств. К черту! Мне опротивело то, что у меня перед глазами, я хочу того, что у меня за спиной... что там? Целый огромный мир живет где-то за моею спиной, - и я же чувствую, как он прекрасен, а головы повернуть не могу. Не могу! К черту. Скоро я совсем брошу писать!

 Татьяна Николаевна. Это пройдет, Алеша.

 Савелов. И очень жаль будет, если пройдет. - Ах, Господи, хоть бы кто-нибудь зашел и рассказал - о той жизни рассказал!

 Татьяна Николаевна. Можно позвать кого-нибудь... Алеша, хочешь я позвоню Федоровичу?

 Савелов. Федоровичу? Чтобы снова весь вечер говорить о литературе? К черту!

 Татьяна Николаевна. Но кого же? Я не знаю, кого можно позвать, кто подошел бы к твоему настроению. Сигизмунд?

 Савелов. Нет! И я никого не знаю, кто подошел бы. Кто?

Оба думают.

 Татьяна Николаевна. А если Керженцеву?

 Савелов. Антону?

 Татьяна Николаевна. Да, Антону Игнатьевичу. Если позвонить, он сейчас приедет, по вечерам он всегда дома. Если не захочется говорить, то поиграй с ним в шахматы.

 Савелов (останавливается и сердито смотрит на жену). С Керженцевым в шахматы я не стану, как ты этого не понимаешь? Прошлый раз он с трех ходов зарезал меня... что же мне интересного играть с таким... Чигориным! И я все-таки понимаю, что это только игра, а он серьезен, как идол, и когда я проигрываю, считает меня ослом. Нет, не надо Керженцева!

 Татьяна Николаевна. Ну, поговоришь, вы с ним друзья.

 Савелов. Говори с ним сама, ты с ним любишь говорить, а я не хочу. Во-первых, говорить буду только я, а он будет молчать - мало ли люди молчат, но он молчит ужасно противно! И потом он просто надоел мне с своими дохлыми обезьянами, своей божественной мыслью - и лакеем Васькой, на которого он кричит, как буржуй. Экспериментатор! У человека такой великолепный лоб, за который за один можно поставить памятник, - а что он сделал? Ничего. Хоть бы орехи бил своим лбом - все-таки работа. - Фух ты, устал бегать!

Садится.

 Татьяна Николаевна. Да... Мне, Алеша, одно не нравится: у него появилось что-то угрюмое в глазах.Повидимому, он действительно болен: этот его психоз, о котором говорил Карасев...

 Савелов. Оставь! Не верю я в его психоз. Притворяется, дурака ломает.

 Татьяна Николаевна. Ну, ты уж слишком, Алеша.

 Савелов. Нет, не слишком. Я, голубчик, Антона с гимназии знаю, два года были мы с ним влюбленнейшими друзьями - и это пренелепейший человек! Я ему ни в чем не верю. Нет, не хочу о нем говорить. Надоело! Танечка я куда-нибудь пойду.

 Татьяна Николаевна. Со мною?

 Савелов. Нет, я один хочу. Танечка, можно?

 Татьяна Николаевна. Иди, конечно. Но только куда же ты пойдешь - к кому-нибудь?

 Савелов. Может, зайду к кому-нибудь... Нет, мне так хочется пошататься по улицам, среди народа. Потолкаться локтями, посмотреть, как смеются, как скалят зубы... Прошлый раз на бульваре били кого-то, и я, честное слово,Танечка, с наслаждением смотрел на скандал. Может быть, в ресторанчик зайду.

 Татьяна Николаевна. Ох, Алеша, миленький, боюсь я этого, не надо, дорогой. Опять много выпьешь и будешь нездоров - не надо!

 Савелов. Да нет же, ну что ты, Таня! Да, я и забыл тебе сказать: я сегодня шел за генералом. Хоронили какого-то генерала, и играла военная музыка - понимаешь? Это не румынская скрипка, которая выматывает душу: тут идешь твердо, в ногу - дело чувствуется. Я люблю духовые инструменты. В медных трубах, когда они плачут и кричат, в барабанной дроби с ее жестоким, твердым, отчетливым ритмом... Что вам?

Вошла горничная Саша.

 Татьяна Николаевна. Отчего вы не стучитесь, Саша? Вы ко мне?

 Саша. Нет, Антон Игнатьич пришли и спрашивают, к вам можно или нет. Они уже разделись.

 Савелов. Ну, конечно, зовите. Скажите, чтобы прямо сюда шел.

Горничная выходит.

 Татьяна Николаевна (улыбается). Легок на помине.

 Савелов. А, черт!.. Задержит он меня, ей-Богу! Танечка, ты побудь, пожалуйста, с Керженцевым, а я пойду, я не могу!

 Татьяна Николаевна. Да, конечно, иди! Ведь он же свой человек, какие тут могут быть стеснения... миленький, ты совсем расстроился!

 Савелов. Ну, ну! Сейчас человек войдет, а ты целуешь.

 Татьяна Николаевна. Успею!

 Входит Керженцев. Здоровается. Татьяне Николаевне гость целует руку.

 Савелов. Ты какими судьбами, Антоша? А я, брат, ухожу.

 Керженцев. Что ж, идите, и я с вами выйду. Вы также идете, Татьяна Николаевна?

 Савелов. Нет, она останется, посиди. Что это про тебя Карасев говорил: ты не совсем здоров?

 Керженцев. Пустяки. Некоторое ослабление памяти, вероятно, случайность, переутомление. Так и психиатр сказал. А что - уже говорят?

 Савелов. Говорят, брат, говорят! Что улыбаешься, доволен? Я тебе говорю, Таня, что это какая-то штука... не верю я тебе, Антоша!

 Керженцев. В чем же ты мне не веришь, Алексей?

 Савелов (резко). Во всем.

Молчание. Савелов сердито ходит

 Татьяна Николаевна. А как поживает ваш Джайпур, Антон Игнатьевич?

 Керженцев. Он умер.

 Татьяна Николаевна. Да? Как жаль.

Савелов презрительно фыркает.

 Керженцев. Да,умер. Вчера.Ты, Алексей,иди лучше, а то ты уже начинаешь ненавидеть меня. Я тебя не задерживаю.

 Савелов. Да, я пойду. Ты, Антоша, не сердись, я сегодня зол и на всех кидаюсь как собака. Не сердись, голубчик, она тебе все расскажет. У тебя Джайпур умер, а я, брат, сегодня генерала хоронил: три улицы промаршировал.

 Керженцев. Какого генерала?

 Татьяна Николаевна. Он шутит, он за музыкой шел.

 Савелов (набивая папиросами портсигар). Шутки шутками, а ты все-таки поменьше возись с обезьяной, Антон, - когда-нибудь и серьезно сбрендишь. Экспериментатор ты, Антоша, жестокий экспериментатор!

Керженцев не отвечает.

 Керженцев. Дети здоровы, Татьяна Николаевна?

 Татьяна Николаевна. Слава Богу, здоровы. А что?

 Керженцев. Скарлатина гуляет, надо поберегать.

 Татьяна Николаевна. О, Господи!

 Савелов. Ну, теперь заахала! До свидания, Антоша, не сердись, что ухожу... Может, я еще застану тебя. Я скоро, голубчик.

 Татьяна Николаевна. Я немного провожу тебя, Алеша, мне два слова. Я сейчас, Антон Игнатьевич.

 Керженцев. Пожалуйста, не стесняйтесь.

 Савелов и жена выходят. Керженцев прохаживается по комнате. Берет с письменного стола Савелова тяжелое пресс-папье и взвешивает на руке: так застает его Татьяна Николаевна.

 Татьяна Николаевна. Ушел. Что это вы смотрите, Антон Игнатьевич?

 Керженцев (спокойно кладя пресс-папье). Тяжелая вещь, можно убить человека, если ударить по голове. Куда пошел Алексей?

 Татьяна Николаевна. Так, пройтись. Он скучает. Садитесь, Антон Игнатьевич, я очень рада, что вы заглянули наконец.

 Керженцев. Скучает? Давно ли это?

 Татьяна Николаевна. У него это бывает. Вдруг бросит работу и начинает разыскивать какую-то настоящую жизнь. Теперь он пошел шататься по улицам и, наверное, ввяжется в какую-нибудь историю. Мне печально то, Антон Игнатьевич, что, видимо, я чего-то ему не даю, каких-то необходимых переживаний, наша с ним жизнь слишком спокойна...

 Керженцев. И счастлива?

 Татьяна Николаевна. А что такое счастье?

 Керженцев. Да, этого никто не знает. Вам очень нравится последняя повесть Алексея?

 Татьяна Николаевна. Очень. А вам?

Керженцев молчит.

 Я нахожу, что талант его растет с каждым днем. Это вовсе не значит, что я говорю, как его жена, я вообще достаточно беспристрастна. Но это находит и критика... а вы?

Керженцев молчит.

 (Волнуясь.) А вы, Антон Игнатьевич, внимательно прочли книгу или только перелистали?

 Керженцев. Очень внимательно.

 Татьяна Николаевна. Ну и что же?

 Керженцев молчит. Татьяна Николаевна взглядывает на него и молча начинает убирать со стола бумаги.

 Керженцев. Вам не нравится, что я молчу?

 Татьяна Николаевна. Мне не нравится другое.

 Керженцев. Что?

 Татьяна Николаевна. Сегодня вы бросили один очень странный взгляд на Алексея, на мужа. Мне не нравится, Антон Игнатьич, что за шесть лет... вы не могли простить ни мне, ни Алексею. Вы всегда были так сдержанны, что это мне и в голову не приходило, но сегодня... Впрочем, оставим этот разговор, Антон Игнатьич!

 Керженцев встает и становится спиной к печке. Смотрит сверху вниз на Татьяну Николаевну.

 Керженцев. Зачем же менять, Татьяна Николаевна? Он мне кажется интересным. Если я сегодня впервые за шесть лет проявил что-то - хотя я не знаю что, - то и вы сегодня в первый раз заговорили о прошлом. Это интересно. Да, шесть лет тому назад, а вернее, семь с половиной - ослабление моей памяти не коснулось этих дат - я предложил вам руку и сердце, и вы изволили отвергнуть и то и другое. Вы помните, что это было на Николаевском вокзале и что стрелка на станционных часах показывала в эту минуту ровно шесть: диск делился пополам одною черною чертою?

 Татьяна Николаевна. Я этого не помню.

 Керженцев. Нет, это верно, Татьяна Николаевна. И помните, что вы тогда еще пожалели меня? - этого вы не можете забыть.

 Татьяна Николаевна. Да, это я помню, но что я могла сделать другое? В моей жалости не было ничего оскорбительного для вас, Антон Игнатьич? И я просто не могу понять, зачем мы это говорим - что это, объяснение? Я, к счастью, совершенно уверена, что вы не только не любите меня...

 Керженцев. Это неосторожно, Татьяна Николаевна! А вдруг я скажу, что и до сих пор - я люблю вас, что я не женюсь, веду такую странную замкнутую жизнь только потому, что - люблю вас?

 Татьяна Николаевна. Вы этого не скажете!

 Керженцев. Да, я этого не скажу.

 Татьяна Николаевна. Послушайте, Антон Игнатьич: я очень люблю говорить с вами...

 Керженцев. Говорить со мной, а спать - с Алексеем?

 Татьяна Николаевна (встает, возмущенно). Нет, что с вами? Это же грубо! Это... невозможно! Я не понимаю. И может быть, вы, действительно, больны? Этот ваш психоз, о котором я слыхала...

 Керженцев. Что ж, допустим. Пусть это будет тот самый психоз, о котором вы слыхали - если иначе нельзя говорить. Но неужели вы боитесь слов, Татьяна Николаевна?

 Татьяна Николаевна. Я ничего не боюсь, Антон Игнатьич. (Садится.) Но я все должна буду рассказать Алексею.

 Керженцев. А вы уверены, что вы сумеете рассказать и он сумеет что-нибудь понять?

 Татьяна Николаевна. Алексей не сумеет понять?.. Нет, вы шутите, Антон Игнатьич?

 Керженцев. Что ж, можно допустить и это. Вам, конечно, Алексей говорил, что я... как бы вам это сказать... большой мистификатор? Люблю опыты и - шутки. Когда-то, в дни молодости, конечно, я нарочно добивался дружбы у кого-нибудь из товарищей, а когда он выбалтывался весь, я уходил от него с улыбкой. С легкой улыбкой, впрочем: я слишком уважаю свое одиночество, чтобы нарушать его смехом. Вот и теперь я шучу, и пока вы волнуетесь, я, может быть, спокойно и с улыбкой рассматриваю вас... с легкой улыбкой, впрочем.

 Татьяна Николаевна. Но вам понятно, Антон Игнатьич, что такого отношения к себе я допустить не могу? Плохие шутки, от которых никому не хочется смеяться.

 Керженцев (смеется). Разве? А мне казалось, что я уже смеялся. Это вы серьезничаете, Татьяна Николаевна, а не я. Засмейтесь!

 Татьяна Николаевна (насильственно смеется). Но, может быть, это также только опыт?

 Керженцев (серьезно). Вы правы: я хотел слышать ваш смех. Первое, что я в вас полюбил - был именно ваш смех.

 Татьяна Николаевна. Я больше не стану смеяться.

Молчание. Керженцев улыбается.

 Керженцев. Вы очень несправедливы сегодня, Татьяна Николаевна, да: Алексею вы отдаете все, а у меня хотели бы отнять последние крохи. Только потому, что я люблю ваш смех и нахожу в нем ту красоту, которой, быть может, не видят другие, вы уже не хотите смеяться!

 Татьяна Николаевна. Все женщины несправедливы.

 Керженцев. Зачем так плохо о женщинах? И если я сегодня шучу, то вы шутите еще больше: вы притворяетесь маленькой трусливой мещаночкой, которая с яростью и... отчаянием защищает свое маленькое гнездо, свой птичник. Разве я так похож на коршуна?

 Татьяна Николаевна. С вами трудно спорить... говорите.

 Керженцев. Но ведь это же правда, Татьяна Николаевна! Вы умнее вашего мужа, а моего друга, я также умнее его, и поэтому вы всегда так любили говорить со мной... ваш гнев и сейчас не лишен некоторой приятности. Разрешите же мне быть - в странном настроении. Сегодня я слишком долго копался в мозгу моего Джайпура - он умер от тоски, - и у меня странное, очень странное и... шутливое настроение!

 Татьяна Николаевна. Я это заметила, Антон Игнатьевич. Нет, серьезно, мне искренно жаль вашего Джайпура: у него было такое... (улыбается) интеллигентное лицо. Но чего же вы хотите?

 Керженцев. Сочинять. Выдумывать.

 Татьяна Николаевна. Господи, какие мы, женщины, несчастные, вечные жертвы ваших гениальных капризов: Алексей убежал, чтобы не сочинять, и я должна была придумывать ему утешения, а вы... (Смеется.) Сочиняйте!

 Керженцев. Вот вы и засмеялись!

 Татьяна Николаевна. Да уж Бог с вами. Сочиняйте, но только, пожалуйста, не о любви!

 Керженцев. Иначе нельзя. Мой рассказ начинается с любви.

 Татьяна Николаевна. Ну, как хотите. Постойте, я сяду поудобнее. (Садится на диван с ногами и оправляет юбку.) Теперь я слушаю.

 Керженцев. Так вот, допустим, Татьяна Николаевна, что я, доктор Керженцев... как неопытный сочинитель, я буду от первого лица, можно?., так вот, допустим, что люблю вас - можно? - и что я стал нестерпимо раздражаться, глядя на вас с талантливым Алексеем. Моя жизнь, благодаря вам, расклеилась, а вы нестерпимо счастливы, вы великолепны, вас одобряет сама критика, вы молоды и прекрасны... кстати, вы очень красиво причесываетесь теперь, Татьяна Николаевна!

 Татьяна Николаевна. Да? Так нравится Алексею. Я слушаю.

 Керженцев. Вы слушаете? Прекрасно. Так вот... вы знаете, что такое одиночество с его мыслями? Допустим, что вы это знаете. Так вот, однажды, сидя один за своим столом...

 Татьяна Николаевна. У вас великолепный стол, я мечтаю о таком для Алеши. Простите...

 Керженцев. ...и раздражаясь все более и более - думая о многом, - я решил совершить ужасное злодейство: прийти к вам в дом, так-таки просто прийти к вам в дом и... убить талантливого Алексея!

 Татьяна Николаевна. Что? Что вы говорите! Как вам не стыдно!

 Керженцев. Это же слова!

 Татьяна Николаевна. Неприятные слова!

 Керженцев. Вы боитесь?

 Татьяна Николаевна. Опять боитесь? Нет, я ничего не боюсь, Антон Игнатьич. Но я требую, то есть я хочу, чтобы... рассказ был в пределах... художественной правды. (Встает и ходит.) Я избалована, голубчик, талантливыми рассказами, и бульварный роман с его ужасными злодеями... вы не сердитесь?

 Керженцев. Первый опыт!

 Татьяна Николаевна. Да, первый опыт, и это видно. Как же вы, ваш герой хочет осуществить свой страшный замысел? Ведь, конечно, он умный злодей, который себя любит, и ему вовсе не хочется менять свою... удобную жизнь на каторгу и кандалы?

 Керженцев. Несомненно! И я... то есть мой герой для этой цели притворяется сумасшедшим.

 Татьяна Николаевна. Что?

 Керженцев. Вы не понимаете? Убьет, а потом выздоровеет и вернется к своей... удобной жизни. Ну, как, дорогой критик?

 Татьяна Николаевна. Как? Плохо до того, что... стыдно! Он хочет убить, он притворяется и он же рассказывает - и кому? Жене! Плохо, неестественно, Антон Игнатьич!

 Керженцев. А игра? Прекрасный критик мой - а игра? Или вы не видите, какие бешеные

сокровища бешеной игры сокрыты здесь: самой жене говорить о том, что я хочу убить ее мужа, смотреть ей в глаза, улыбаться тихонько и говорить: а я хочу убить вашего мужа! И говоря это, знать, что она не поверит... или поверит? И что, когда она станет рассказывать об этом другим, ей также никто не поверит! Она будет плакать... или не будет? - а ей не поверят!

 Татьяна Николаевна. А вдруг поверят?

 Керженцев. Что вы: ведь только сумасшедшие рассказывают такие вещи... и слушают! Но какая игра - нет, вы подумайте серьезно, какая бешеная, острая, божественная игра! Конечно, для слабой головы это опасно, легко можно перейти грань и назад уж не вернуться - но для сильного и свободного ума? Послушайте, зачем писать рассказы, когда их можно делать! А - не правда ли? Зачем писать? Какой простор для творческой, бесстрашной, воистину творческой мысли!

 Татьяна Николаевна. Ваш герой доктор?

 Керженцев. Герой - это я.

 Татьяна Николаевна. Ну, все равно, вы. Он может незаметно отравить или привить какую-нибудь болезнь... почему он так не хочет?

 Керженцев. Но если я незаметно отравлю, то как же вы будете знать, что это сделал - я?

 Татьяна Николаевна. Но зачем же я должна знать это?

Керженцев молчит.

 (Слегка топает ногой.) Зачем я должна это знать? Что вы говорите!

 Керженцев молчит. Татьяна Николаевна отходит, потирает пальцами виски.

 Керженцев. Вам нехорошо?

 Татьяна Николаевна. Да. Нет. Голова что-то...О чем мы сейчас говорили? Как странно: о чем мы сейчас говорили? Как странно, я не совсем ясно помню, о чем мы сейчас говорили? О чем?

Керженцев молчит.

 Антон Игнатьевич!

 Керженцев. Что?

 Татьяна Николаевна. Как мы к этому пришли?

 Керженцев. К чему?

 Татьяна Николаевна. Я не знаю. - Антон Игнатьевич, голубчик, дорогой, не надо!

Мне, правда, немного страшно. Не надо шутить! Вы такой милый, когда говорите со мной серьезно... и ведь вы же никогда так не шутили! Зачем теперь? Вы меня перестали уважать? Не надо! И вы не думайте, что я так уж счастлива... какой там! Мне с Алексеем очень трудно, это правда. И он сам вовсе так счастлив, я же знаю!..

 Керженцев. Татьяна Николаевна, сегодня впервые за шесть лет мы говорим о прошлом, и я не знаю... Вы рассказали Алексею, что шесть лет тому назад я предложил вам руку и сердце и вы изволили отказаться - от того и от другого?

 Татьяна Николаевна (смущаясь). Дорогой мой, но как же я могла... не рассказать, когда...

 Керженцев. И он также жалел меня?

 Татьяна Николаевна. Но неужто вы не верите в его благородство, Антон Игнатьич?

 Керженцев. Я вас очень любил, Татьяна Николаевна.

 Татьяна Николаевна (умоляя). Не надо!

 Керженцев. Хорошо.

 Татьяна Николаевна. Ведь вы же сильный! У вас огромная воля, Антон Игнатьич, если вы захотите, вы можете все. Ну... простите нас, простите меня!

 Керженцев. Воля? Да.

 Татьяна Николаевна. Зачем вы так смотрите - вы не хотите простить? Не можете? Боже мой, как это... ужасно! И кто же виноват и какая же это жизнь, Гоподи! (Тихо плачет.) И все надо бояться, то дети, то... Простите!

 Молчание. Керженцев точно издали смотрит на Татьяну Николаевну - вдруг просветляется, меняет маску.

 Керженцев. Татьяна Николаевна, голубчик, перестаньте, ну, что вы! Я шутил.

 Татьяна Николаевна (вздыхая и вытирая слезы). Вы не будете больше. Не надо.

 Керженцев. Да, конечно! Понимаете: у меня сегодня умер мой Джайпур... и я... ну, расстроился, что ли. Взгляните на меня: вы видите, я уже улыбаюсь.

 Татьяна Николаевна (взглянув и также улыбнувшись). Какой вы, Антон Игнатьич!

 Керженцев. Чудак я, ну, чудак - мало ли чудаков, да еще каких! Дорогая моя, мы с вами старые друзья, сколько одной соли съели, я люблю вас, люблю милого, благородного Алексея - хотя о произведениях его позвольте мне всегда говорить прямо...

 Татьяна Николаевна. Ну, конечно же, это вопрос спорный!

 Керженцев. Ну, вот и прекрасно. А милые детишки ваши? Вероятно, это чувство, общее всем упорным холостякам, но ваших детей я считаю почти за своих. Ваш Игорь мой крестник...

 Татьяна Николаевна. Вы милый, Антон Игнатьич, вы милый!.. - Кто это?

Постучавшись, входит горничная Саша.

 Что вам, Саша, как вы меня испугали, Боже мой! Дети?

 Саша. Нет, дети спят. Вас барин просит к телефону, сейчас звонили-с.

 Татьяна Николаевна. Что такое? Что с ним?

 Саша. Ничего, ей-Богу. Они веселый, шутят.

 Татьяна Николаевна. Я сейчас, простите, Антон Игнатьич. (От двери, ласково.) Милый!

 Выходят обе. Керженцев ходит по комнате - суровый, озабоченный. Снова берет пресс-папье, осматривает его острые углы и взвешивает на руке. При входе Татьяны Николаевны быстро ставит его на место и делает приятное лицо.

 Антон Игнатьич, едемте скорее!

 Керженцев. Что случилось, дорогая?

 Татьяна Николаевна. Нет, ничего. Милый! Так, не знаю. Алексей звонит из ресторана, там кто-то собрался, просит нас приехать. Весело. Едемте! Я переодеваться не стану - идем, милый.

Идут. Татьяна Николаевна останавливается.

 Какой вы послушный: идет себе и даже не спрашивает, куда. Милый! Да... Антон Игнатьич, а когда вы были у психиатра?

 Керженцев. Дней пять или шесть. Я был у Семенова, голубчик, он мой знакомый. Знающий человек.

 Татьяна Николаевна. А!.. Это очень известный, кажется, это хорошо. Что же он вам сказал? Вы не обижайтесь, дорогой, но вы знаете, как я...

 Керженцев. Ну, что вы, дорогая! Семенов сказал, что пустяки, переутомление - пустяки. Мы долго с ним говорили, хороший старик. И такие лукавые глаза!

 Татьяна Николаевна. Но переутомление есть? Бедненький вы мой, - переутомился! (Гладит его по руке.) Не надо, дорогой, отдохните, полечитесь...

 Керженцев молча наклоняется и целует ей руку. Она со страхом сверху смотрит на его голову.

 Антон Игнатьич! Вы не будете сегодня спорить с Алексеем?

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

 Кабинет Савелова. Шестой час вечера, перед обедом. В кабинете трое: Савелов, его жена и гость, приглашенный к обеду, писатель Федорович. Татьяна Николаевна сидит на кончике дивана и умоляюще смотрит на мужа; Федорович неторопливо, заложив руки за спину, прохаживается по комнате; Савелов сидит на своем месте за столом и то откидывается на спинку кресла, то, опустив голову над столом, сердито рубит и ломает разрезальным ножом карандаш, спички.

 Савелов. Да к черту, наконец, Керженцева! Поймите вы оба, и ты пойми это, Федорович, что Керженцев мне надоел, как горькая редька! Ну и пусть болен, ну и пусть с ума сошел, ну и пусть опасен - ведь не могу же я думать; только о Керженцеве. К черту! - Послушай, Федорович, ты был на вчерашнем докладе в литературном обществе? Что интересного там говорили?

 Федорович. Интересного мало. Так, больше препирались да ругались, я рано ушел.

 Савелов. Меня ругали?

 Федорович. Ругали, брат, и тебя. Они всех там ругают.

 Татьяна Николаевна. Ну, послушай, Алеша, послушай, не раздражайся: Александр Николаевич просто хочет предупредить тебя относительно Керженцева... Нет-нет, постой, нельзя же быть таким упрямым. Ну если ты мне не веришь и думаешь, что я преувеличиваю, то поверь Александру Николаевичу, он посторонний человек: Александр Николаевич, скажите, вы сами были на этом обеде и сами все видели?

 Федорович. Сам.

 Татьяна Николаевна. Ну и что же, говорите!

 Федорович. Ну, и не подлежит сомнению, что это был припадок форменного бешенства. Достаточно было посмотреть на его глаза, на лицо - форменное исступление! Пену-то на губах не сочинишь.

 Татьяна Николаевна. Ну?

 Федорович. Керженцев-то ваш и вообще никогда не производил на меня впечатления кроткого человека, этакое идолище поганое на вывернутых ногах, а тут и всем стало жутко. Было нас человек десять за столом, так все и рассыпались, кто куда. Да, брат, а Петр Петрович было лопнул: при его толщине да такое испытание!

 Татьяна Николаевна. Ты не веришь, Алексей?

 Савелов. А чему мне прикажете верить? Вот же странные люди! Он бил кого-нибудь?

 Федорович. Нет, бить он никого не бил, хотя на Петра Петровича покушался... А посуду побил, это верно, и цветы поломал, пальму. Да что - конечно, опасен, кто может поручиться за такого? Народ мы нерешительный, всё на деликатности стараемся, а положительно надо бы сообщить полиции, пусть посидит в больнице, пока отойдет.

 Татьяна Николаевна. Необходимо сообщить, так оставлять этого нельзя. Бог знает что! Все смотрят и никто...

 Савелов. Оставь, Таня! Просто надо было его связать, и больше ничего, и на голову ведро холодной воды. Если хотите, я верю в сумасшествие Керженцева, отчего же, всяко бывает, но страхов ваших решительно не понимаю. Почему именно мне он захочет причинить какой-нибудь вред? Чепуха!

 Татьяна Николаевна. Но я же рассказывала, Алеша, что он тогда вечером говорил мне. Он так меня тогда напугал, что я была сама не своя. Я почти плакала!

 Савелов. Извини, Танечка: ты мне, действительно, рассказывала, но я ничего, голубчик, не понял из твоего рассказа. Какая-то нелепая болтовня на слишком острые темы, которых, конечно, следовало избегать... Ты знаешь, Федорович, ведь он когда-то сватался за Татьяну? - как же, любовь тоже!..

 Татьяна Николаевна. Алеша!

 Савелов. Ему можно, он свой человек. Ну, и понимаешь, что-то вроде любовной отрыжки - э, да просто блажь! Блажь! Никого и никогда не любил Керженцев и любить не может. Я его знаю. Довольно о нем, господа.

 Федорович. Хорошо.

 Татьяна Николаевна. Ну, Алеша, миленький, ну, что стоит это сделать - для меня! Ну, пусть я глупая, но я страшно беспокоюсь. Не надо его принимать, вот и все, можно ласковое письмо ему написать. Ведь нельзя же пускать в дом такого опасного человека - не правда ли, Александр Николаевич?

 Федорович. Правильно!

 Савелов. Нет! Мне даже неловко слушать тебя, Таня. Действительно, только этого не хватает, чтобы я из-за какого-то каприза... ну, не каприза, я извиняюсь, я не так выразился, ну, вообще из-за каких-то страхов я отказал бы человеку от дома. Не надо было болтать на такие темы, а теперь нечего. Опасный человек... довольно, Таня!

 Татьяна Николаевна (вздыхая). Хорошо.

 Савелов. И вот еще что, Татьяна: ты не вздумай ему написать без моего ведома, я тебя знаю. Угадал?

 Татьяна Николаевна (сухо). Ничего ты не угадал, Алексей. Оставим лучше. Когда же вы в Крым, Александр Николаевич?

 Федорович. Да думаю на той недельке двинуть. Трудно мне выбраться.

 Савелов. Денег нет, Федорчук?

 Федорович. Да нет. Аванса жду, обещали.

 Савелов. Ни у кого, брат, нет денег.

 Федорович (останавливается перед Савеловым). А поехал бы ты со мною, Алексей! Все равно ведь ничего не делаешь, а там мы с тобою здорово бы козырнули - а? Забаловался ты, жена тебя балует, а там двинули бы мы пешком: дорога, брат, белая, море, брат, синее, миндаль цветет...

 Савелов. Не люблю Крыма.

 Татьяна Николаевна. Он совершенно не выносит Крыма. Но а если бы так, Алеша: я с детьми осталась бы в Ялте, а ты с Александром Николаевичем поезжай на Кавказ, Кавказ ты любишь.

 Савелов. Да чего я ради вообще поеду? Я вовсе никуда не собираюсь ехать, у меня тут работы по горло!

 Федорович. Для детей хорошо.

 Татьяна Николаевна. Конечно!

 Савелов (раздраженно). Ну и поезжай с детьми, если хочешь. Ведь это, ей-Богу, невозможно! Ну и поезжай с детьми, а я тут останусь. Крым... Федорович, ты любишь кипарисы? - а я их ненавижу. Стоят, как восклицательные знаки, чтоб их черт побрал, а тексту никакого... точно рукопись дамы-писательницы о каком-то "загадочном" Борисе!

 Федорович. Нет, брат: дамы- писательницы больше многоточия любят...

Входит горничная.

 Саша. Антон Игнатьевич пришли и спрашивают, можно к вам?

Некоторое молчание.

 Татьяна Николаевна. Ну вот, Алеша!

 Савелов. Конечно, просить! Саша, попросите Антона Игнатьича сюда, скажите, что мы в кабинете. Чаю дайте.

 Горничная выходит. В кабинете молчание. Входит Керженцев с каким-то большим бумажным свертком в руках. Лицо темное. Здоровается.

 А, Антоша! Здравствуй. Что это ты бедокуришь? Мне всё рассказывают. Полечись, брат, надо серьезно полечиться, так этого оставлять нельзя.

 Керженцев (тихо). Да, кажется, немного захворал. Завтра думаю поехать в санаторию, отдохнуть. Надо отдохнуть.

 Савелов. Отдохни, отдохни, конечно. Вот видишь, Таня, человек и без вас знает, что ему надо делать. Тут так, брат, тебя костили вот эти двое...

 Татьяна Николаевна (укоризненно). Алеша! Хотите чаю, Антон Игнатьич?

 Керженцев. С удовольствием, Татьяна Николаевна.

 Савелов. Ты что так тихо говоришь, Антон? (Ворчит.) Алеша, Алеша, - не умею я по-вашему молчать... Садись, Антон, что же ты стоишь?

 Керженцев. Вот, Татьяна Николаевна, возьмите, пожалуйста.

 Татьяна Николаевна (принимает пакет). Что это?

 Керженцев. Игорю игрушки. Я уж давно обещал, да как-то все не было времени, а сегодня

кончал все свои дела в городе и вот, к счастью, вспомнил. Я к вам ведь проститься.

 Татьяна Николаевна. Спасибо, Антон Игнатьич. Игорь будет очень рад. Я его сюда позову, пусть от вас получит.

 Савелов. Нет, Танечка, мне не хочется шуму. Придет Игорь, потом и Танька потащится, и такая тут начнется персидская революция: то ли на кол сажают, то ли ура кричат!.. Что? Лошадь?

 Керженцев. Да. Пришел я в магазин и растерялся, никак не могу угадать, что ему понравится.

 Федорович. Мой Петька теперь уже автомобиль требует, не хочет лошади.

Татьяна Николаевна звонит.

 Савелов. Ну, еще бы! Тоже ведь растут. Скоро до аэропланов доберутся... Вам что, Саша?

 С а ш а. Меня звонили.

 Татьяна Николаевна. Это я, Алеша. Вот, Саша, отнесите, пожалуйста, в детскую и отдайте Игорю, скажите, дядя ему принес.

 Савелов. А что же ты сама, Таня, не пойдешь? Лучше сама отнеси.

 Татьяна Николаевна. Мне не хочется, Алеша.

 Савелов. Таня!

 Татьяна Николаевна берет игрушку и молча выходит. Федорович насвистывает и смотрит по стенам уже виденные картины.

 Нелепая женщина! Это она тебя боится, Антон.

 Керженцев (удивленно). Меня?

 Савелов. Да. Представилось что-то женщине и вот тоже, вроде тебя, с ума сходит. Считает тебя опасным человеком.

 Федорович (перебивая). Чья это карточка, Алексей?

 Савелов. Актрисы одной. Ты что ей наговорил тут, Антоша? Напрасно, голубчик, ты таких тем касаешься. Я убежден, что для тебя это было шуткой, а Таня моя насчет шуток плоха, ты ее знаешь не хуже меня.

 Федорович (снова). А кто эта актриса?

 Савелов. Да ты ее не знаешь! Так-то, Антон, не следовало бы. Ты улыбаешься? Или серьезен?

 Керженцев молчит. Федорович искоса смотрит на него. Савелов хмурится.

 Ну, конечно, шутки. А все-таки брось ты шутить, Антон! Знаю я тебя с гимназии, и всегда в твоих шутках было что-то неприятное. Когда шутят, брат, то улыбаются, а ты как раз стараешься в это время такую рожу скорчить, чтобы поджилки затряслись. Экспериментатор! Ну что, Таня?

Вошла Татьяна Николаевна.

 Татьяна Николаевна. Ну, конечно, рад. О чем вы здесь так горячо?

 Савелов ходит по кабинету; бросает на ходу пренебрежительно и довольно резко:

 Савелов. О шутках. Я советовал Антону не шутить, так как не всем его шутки кажутся одинаково... удачными.

 Татьяна Николаевна. Да? А что же чаю, милый Антон Игнатьич, - вам еще не подали! (Звонит.) Простите, я и не заметила!

 Керженцев. Я попросил бы стакан белого вина, если это не нарушит вашего порядка.

 Савелов. Ну, какой такой у нас порядок!.. (Вошедшей горничной.) Саша, дайте сюда вина и два стакана: ты будешь вино, Федорович?

 Федорович. Стаканчик выпью, а ты разве нет?

 Савелов. Не хочется.

 Татьяна Николаевна. Белого вина дадите, Саша, и два стакана.

 Горничная выходит, вскоре возвращается с вином. Неловкое молчание. Савелов сдерживает себя, чтобы не высказывать Керженцеву враждебности, но с каждой минутой это становится труднее.

 Савелов. Ты в какую санаторию хочешь, Антон?

 Керженцев. Мне Семенов посоветовал. Есть чудесное местечко по Финляндской дороге, я уже списался. Больных, вернее отдыхающих, там мало - лес и тишина.

 Савелов. А!.. Лес и тишина. Ты что же не пьешь вино? Пей. Федорович - наливай. (Насмешливо.) А на что же тебе понадобились лес и тишина?

 Татьяна Николаевна. Для отдыха, конечно, и о чем ты спрашиваешь, Алеша? Правда, Александр Николаевич, что сегодня наш Алеша какой-то бестолковый - вы не сердитесь на меня, знаменитый писатель?

 Савелов. Не болтай, Таня, неприятно. Да, конечно, для отдыха... Вот, Федорович, обрати внимание на человека: ему совершенно чуждо простое чувство природы, способность радоваться

солнцу, воде. Правда, Антон?

Керженцев молчит.

 (Раздражаясь.) Нет, и при этом он думает, что он ушел вперед, понимаешь, Федорович? А мы с тобой, которые еще могут наслаждаться солнцем и водой, кажемся ему чем-то атавистическим, убийственно отсталым. Антон, ты не находишь, что Федорович очень похож на твоего покойного орангутанга?

 Федорович. Что ж, отчасти это правда, Алексей. То есть не то, что я похож...

 Савелов. Не правда, а просто нелепость, своеобразная ограниченность... Что тебе, Таня? Что это за знаки еще?

 Татьяна Николаевна. Ничего. Ты вина не хочешь? Послушайте, Антон Игнатьич, сегодня мы собрались, в театр, вы не хотите с нами? У нас ложа.

 Керженцев. С удовольствием, Татьяна Николаевна, хотя я не особенно люблю театр. Но сегодня я пойду с удовольствием.

 Савелов. Не любишь? Странно! Отчего же ты его не любишь? Это в тебе что-то новое, Антон, ты продолжаешь развиваться. Знаешь, Федорович, ведь когда-то Керженцев хотел сам идти в актеры и, по моему мнению, он был бы прекрасный актер! В нем есть этакие свойства... и вообще...

 Керженцев. Мои личные свойства здесь ни при чем, Алексей.

 Татьяна Николаевна. Конечно!

 Керженцев. Я не люблю театра, потому что в нем плохо представляют. Для настоящей игры, которая в конце концов есть только сложная система притворства, театр слишком тесен. Не правда ли, Александр Николаевич?

 Федорович. Я не совсем вас понимаю, Антон Игнатьич.

 Савелов. А что же такое - настоящая игра?

 Керженцев. Истинная художественная игра может быть только в жизни.

 Савелов. И поэтому ты не пошел в актеры, а остался доктором. Понимаешь, Федорович?

 Федорович. Ты придираешься, Алексей! Насколько я понимаю...

 Татьяна Николаевна. Ну, конечно, он бессовестно придирается. Бросьте его, милый Антон Игнатьич, пойдемте лучше в детскую. Игорь непременно хочет поцеловать вас... поцелуйте же его, Антон Игнатьич!

 Керженцев. Мне несколько тяжел сейчас детский шум, извините, Татьяна Николаевна.

 Савелов. Конечно, пусть сидит здесь. Сиди, Антон.

 Керженцев. И я нисколько не... обижаюсь на горячность Алексея. Он всегда был горяч, еще в гимназии.

 Савелов. Совершенно излишняя снисходительность. И я нисколько не горячусь - что ж ты не пьешь вино, Антон? Пей, вино хорошее... Но меня всегда удивляла твоя оторванность от жизни. Жизнь течет мимо тебя, а ты сидишь, как в крепости, ты горд в своем таинственном одиночестве, как барон! Для баронов время прошло, брат, их крепости разрушены. Федорович, ты знаешь, что у нашего барона недавно скончался его единственный союзник - орангутанг?

 Татьяна Николаевна. Алеша, опять! Это невозможно!

 Керженцев. Да, я сижу в крепости. Да. В крепости!

 Савелов (садясь). Да? Скажи пожалуйста! Слушай, Федорович, это исповедь барона!

 Керженцев. Да. И моя крепость - вот: моя голова. Не смейся, Алексей, ты, мне кажется, еще не совсем дорос до этой мысли...

 Савелов. Не дорос?..

 Керженцев. Извини, я не так выразился. Но только вот здесь, в моей голове, за этими

черепными стенами, я могу быть совершенно свободен. И я свободен! Одинок и свободен! Да!

 Встает и начинает ходить по той линии кабинета, по которой только что ходил Савелов.

 Савелов. Федорович, дай мне твой стакан. Спасибо. В чем же твоя свобода, мой одинокий друг?

 Керженцев. А в том... А в том, мой друг, что я стою над той жизнью, в которой вы копошитесь и ползаете! А в том, мой друг, что вместо жалких страстей, которым вы подчиняетесь, как холопы, я избрал своим другом царственную человеческую мысль! Да, барон! Да, я неприступен в своем замке, и нет той силы, которая бы не разбилась вот об эти стены!

 Савелов. Да, твой лоб великолепен, но не слишком ли ты полагаешься на него? Твое переутомление...

 Татьяна Николаевна. Господа, оставьте, охота вам! Алеша!

 Керженцев (смеется). Мое переутомление? Нет, меня не страшит... мое переутомление. Моя мысль послушна мне, как меч, острие которого направляет моя воля. Или ты, слепой, не видишь его блеска? Или ты, слепой, не знаешь этого восторга: заключать вот здесь, в своей голове, целый мир, распоряжаться им, царить, все заливать светом божественной мысли! Что мне машины, которые там где-то грохочут? Вот здесь в великой и строгой тишине работает моя мысль, и сила ее равна силе всех машин в мире! Ты часто смеялся над моей любовью к книге, Алексей, - знаешь ли ты, что когда-нибудь человек станет божеством и подножием ему будет - книга! Мысль!

 Савелов. Нет, этого я не знаю. И твой фетишизм книги мне кажется просто... смешным и... неумным. Да! Есть еще жизнь!

 Также встает и возбужденно ходит, временами почти сталкиваясь с Керженцевым: есть страшное в их возбуждении, в том, как на мгновение они останавливаются лицом к лицу. Татьяна Николаевна испуганно шепчет что-то Федоровичу, тот беспомощно и успокоительно пожимает плечами.

 Керженцев. И это говоришь ты, писатель?

 Савелов. И это говорю я, писатель.

 Татьяна Николаевна. Господа!

 Керженцев. Жалкий же ты писатель, Савелов!

 Савелов. Может быть.

 Керженцев. Ты выпустил пять книг - как же ты смел это сделать, если ты так говоришь о книге? Это кощунство! Ты не смеешь писать, не должен!

 Савелов. Не ты ли мне запретишь?

 Оба на мгновение останавливаются у письменного стола. В стороне Татьяна Николаевна тревожно тянет за рукав Федоровича, тот успокоительно шепчет ей: ничего! ничего!

 Керженцев. Алексей!

 Савелов. Что?

 Керженцев. Ты - хуже моего орангутанга! Он сумел умереть от тоски!

 Савелов. Он сам умер или ты его убил? Опыт?

 Снова ходят, сталкиваясь. Керженцев чему-то громко смеется один. Глаза у него страшны.

 Савелов. Смеешься? Презираешь?

 Керженцев (сильно жестикулирует, говорит точно с кем-то третьим). Он не верит в мысль! Он смеет не верить в мысль! Он не знает, что мысль может все! Он не знает, что мысль может буравить камень, жечь дома, что мысль может все! Алексей!

 Савелов. Твое переутомление!.. Да, в санаторию, в санаторию!

 Керженцев. Алексей!

 Савелов. Что?

 Оба останавливаются возле стола, Керженцев лицом к зрителю. Глаза его страшны, он внушает. Руку он положил на пресс-папье. Татьяна Николаевна и Федорович в столбняке.

 Керженцев. Смотри на меня. Ты видишь мою мысль?

 Савелов. Тебе надо в санаторию. Я смотрю.

 Керженцев. Смотри! Я могу убить тебя!

 Савелов. Нет. Ты... сумасшедший!!!

 Керженцев. Да, я сумасшедший. Я убью тебя вот этим!

 Медленно поднимает пресс-папье. Также медленно, не отводя глаз от глаз Керженцева, Савелов поднимает руку для защиты головы.

 (Внушая.) Опусти руку!

Рука Савелова медленно, толчками, неровно опускается, и Керженцев бьет его по голове. Савелов падает, Керженцев с поднятым пресс-папье наклоняется над ним. Отчаянный крик Татьяны Николаевны и Федоровича.

Занавес

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

 Кабинет-библиотека Керженцева. Возле столов, письменного и библиотечного, с наваленными на них книгами, не торопясь делает что-то Дарья Васильевна, экономка Керженцева, нестарая, миловидная женщина. Напевает тихонько. Поправляет книги, смахивает пыль, смотрит в чернильницу, есть ли чернила. В передней звонок. Дарья Васильевна поворачивает голову, слышит в передней громкий голос Керженцева и спокойно продолжает свою работу.

 Дарья Васильевна (тихонько поет). "Любила меня мать, обожала, что я ненаглядная дочь, - а дочка-то с милым убежала - в глухую ненастную ночь..." Что тебе, Вася? Антон Игнатьич приехал?

Вошел слуга Василий.

 Василий. Дарья Васильевна!

 Дарья Васильевна. Ну? "Бежала я лесом дремучим..." Обедать сейчас давай, Вася. Ну, что ты?

 Василий. Дарья Васильевна! Антон Игнатьич просют дать им чистое белье, рубашку,

он в ванной комнате.

 Дарья Васильевна (удивленно). Это еще что? Какое еще белье? Обедать надо, а не белье, седьмой час.

 Василий. Плохое дело, Дарья Васильевна, я боюсь. У него на всей одежде, на пиджаке и на брюках, кровь.

 Дарья Васильевна. Ну что ты! Откуда?

 Василий. Почем же я знаю? Я боюсь. Стал шубу снимать, так даже в шубе на рукавах кровь, себе руки запачкал. Свежая совсем. Теперь в ванной моется и просит переодеться. Меня не пускает, через дверь говорит.

 Дарья Васильевна. Вот это странно! Ну пойдем, сейчас дам. Хм! операция может какая-нибудь, да для операции он халат надевает. Хм!

 Василий. Скорее, Дарья Васильевна! Слышите, звонит. Я боюсь.

 Дарья Васильевна. Ну, ну. Какой пугливый.

 Оба выходят. Комната некоторое время пуста. Затем входят Керженцев и за ним, видимо, испуганная, Дарья Васильевна. Керженцев говорит повышенно громким голосом, громко смеется, одет по-домашнему, без крахмального воротничка.

Керженцев. Обедать я не буду. Дашенька, может! убирать. Мне не хочется.

 Дарья Васильевна. Как же так, Антон Игнатьич!

 Керженцев. А так. Ты чего испугалась, Даша? Тебе Василий чего-нибудь наговорил? Охота тебе слушать этого дурака.

Быстро идет к углу, где все еще стоит пустая клетка.

 А где наш Джайпур? Нету. Умер наш Джайпур, Дарья Васильевна. Умер! Ты что, Дашенька, ты что?

 Дарья Васильевна. Зачем вы ванную заперли и ключ взяли к себе, Антон Игнатьич?

 Керженцев. А чтобы вас не расстраивать, Дарья Васильевна, чтобы вас не расстраивать! (Смеется.) Я шучу. Скоро узнаешь, Даша.

 Дарья Васильевна. Что узнаю? Вы где были, Антон Игнатьич?

 Керженцев. Где был? Я был в театре, Даша.

 Дарья Васильевна. Какой же теперь театр?

 Керженцев. Да. Сейчас театра нет. Но я сам играл. Даша, я сам играл. И я играл великолепно, я играл великолепно! Жаль, что ты не можешь оценить, что ты не можешь оценить, я бы рассказал тебе про одну изумительную вещь, изумительную вещь - талантливый прием! Талантливый прием! Надо только смотреть в глаза, надо только смотреть в глаза и... Но ты ничего не понимаешь, Даша. Поцелуй меня, Дашенька.

 Дарья Васильевна (отстраняясь). Нет,

 Керженцев. Поцелуй.

 Дарья Васильевна . Не хочу. Я боюсь. У вас глаза...

 Керженцев (сурово и гневно). Что глаза? Ступай. Довольно глупостей! Но ты глупенькая, Даша, и я все-таки тебя поцелую. (Насильно целует.) Жалко, Дашенька, что ночь не наша, что ночь... (Смеется.) Ну, ступай. И скажи Василию, скажи Василию, скажи Василию, что через час или два у меня будут этакие гости, этакие гости в мундирах. Пусть не пугается. И скажи, чтобы дал мне сюда бутылку белого вина. Так. Все. Иди.

 Экономка выходит. Керженцев, очень твердо ступая, ходит по комнате, гуляет. Думает, что у него очень беззаботный и веселый вид. Берет одну, другую книгу, смотрит и кладет обратно. Вид его почти страшен, но он думает, что он спокоен. Ходит. Замечает пустую клетку - и смеется.

 А, это ты, Джайпур! Отчего я все забываю, что ты умер? Джайпур, ты умер от тоски? Глупая

тоска, тебе надо было жить и смотреть на меня - как я смотрел на тебя! Джайпур, ты знаешь, что я сделал сегодня?

Ходит по комнате, говорит, сильно жестикулируя.

 Умер. Взял и умер. Глупо! Не видит моего торжества. Не знает. Не видит. Глупо! Но я устал немного - еще бы не устать! Еще бы не устать! Опусти руку - сказал я. И он - опустил. Джайпур! обезьяна - он опустил руку!

Подходит к клетке, смеется.

 Ты мог бы сделать это, обезьяна? Глупо! Умер, как дурак, - от тоски. Глупо!

 Громко напевает. Василий вносит вино и стакан, идет на цыпочках.

 Кто это? А! Это ты. Поставь. Иди.

 Василий также на цыпочках робко выходит. Керженцев бросает книгу, размашисто и быстро выпивает стакан вина и, сделав по комнате несколько кругов, берет книгу и ложится на диван. Зажигает лампочку на столике, у изголовья, - лицо его освещено ярко, как бы рефлектором. Пробует читать, но не может, бросает книгу на пол.

 Нет, не хочу читать. Нет.

Закидывает руки под голову и закрывает глаза.

 Как приятно. Приятно, приятно. Устал. Хочется спать, спать.

 Молчание, неподвижность. Вдруг смеется, не открывая глаз, как во сне. Слегка приподнимает и опускает правую руку.

 Да!

 Снова тихий и продолжительный смех при закрытых глазах. Молчание. Неподвижность. Ярко освещенное лицо становится строже, суровее. Где-то бьют часы. Вдруг с закрытыми еще глазами Керженцев медленно приподнимается и садится на диван. Молчит, точно во сне. И произносит медленно, разделяя слова, громко и странно пусто, как бы чужим голосом, слегка и равномерно покачиваясь.

 А весьма возможно, - что - доктор Керженцев действительно сумасшедший. - Он думал, - что - он притворяется, а он действительно - сумасшедший. И сейчас сумасшедший.

 Еще мгновение неподвижности. Керженцев открывает глаза и смотрит с ужасом.

 Кто это сказал?

Молчит и смотрит с ужасом.

 Кто? (Шепчет.) Кто сказал? Кто? Кто? - О, Боже мой!

Вскакивает и, полный ужаса, мечется по комнате.

 Нет! Нет!

 Останавливается и, простирая руки, как бы удерживая на месте кружащиеся вещи, все падающее, почти кричит.

 Нет! Нет! Это неправда, я знаю. Стой! Все стой!

Снова мечется.

 Стой, стой! Погоди же! Да не надо же сводить себя с ума. Не надо, не надо - сводить себя - с ума. Как это?

 Останавливается и, закрыв крепко глаза, раздельно произносит, нарочно делая голос чужим и хитрым:

 Он думал, что он притворяется, что он притворяется, а он действительно сумасшедший.

 Открывает глаза и, медленно подняв обе руки, берет себя за волосы.

 Так. Случилось. То, чего ждал, то случилось. Кончено.

 Снова молча и судорожно мечется. Начинает дрожать крупной, все усиливающейся дрожью. Бормочет. Вдруг налетает на зеркало, видит себя - и слегка вскрикивает от ужаса.

 Зеркало!

 Снова осторожно, сбоку подкрадывается к зеркалу, заглядывает. Бормочет. Хочет поправить волосы, но не понимает, как это делается. Движения нелепые, дискоординированные.

 Ага! Так, так, так. (Хитро смеется.) Ты думал, что ты притворяешься, а ты был сумасшедшим, у-гу-гу! Что, ловко? Ага! Ты маленький, ты злой, ты глупый, ты доктор Керженцев. Какой-то доктор Керженцев, сумасшедший доктор Керженцев, какой-то доктор Керженцев!..

 Бормочет. Смеется. Вдруг, продолжая глядеть на себя, медленно и серьезно начинает рвать на себе одежду. Трещит разрываемая материя.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЯТАЯ

 Больница для умалишенных, куда помещен на испытание подследственный Керженцев.

 На сцене коридор, в который выходят двери отдельных камер; коридор расширяется в небольшой зал или нишу, - здесь стоит письмен небольшой стол для врача, два стула; видно, что тут любят собираться служащие в больнице для разговоров. Стены белые с широкой голубой панелью; горит электричество. Светло, уютно. Против ниши - дверь в камеру Керженцева.

 В коридоре беспокойное движение: с Керженцевым только что кончился сильный припадок. В камеру, занимаемую больным, входят и выходят врач в белом балахоне, которого называют Иван Петрович, Сиделка Маша,служители. Проносят лекарство, лед.

 В нише тихо болтают две сиделки. Выходит из коридора второй врач, доктор П р я м о й , еще молодой человек, близорукий и очень скромный. При его приближении сиделки смолкают и принимают почтительные позы.

Кланяются.

 Доктор Прямой. Добрый вечер. Васильева, что тут такое? Припадок?

 Сиделка. Да, Сергей Сергеевич, припадок.

 Прямой. Чья это комната? (Присматривается к двери.)

 Сиделка. Керженцева, того самого, Сергей Сергеевич. Убийцы.

 Прямой. А, да. Так что с ним? Иван Петрович там?

 Сиделка. Там. Теперь ничего, успокоился. Вот Маша идет, ее можно спросить. Я только пришла.

 В камеру хочет войти сиделка Маша, еще молодая женщина с приятным, кротким лицом; доктор окликает ее.

 Прямой. Послушайте, Маша, ну как?

 Маша. Здравствуйте, Сергей Сергеич. Теперь ничего, стих. Лекарство несу.

 Прямой. А! Ну, несите, несите.

Маша входит, осторожно открывая и закрывая дверь.

 А профессор знает? Ему говорили?

 Васильева. Да, докладывали. Они сами хотели прийти, да теперь ничего, отошел.

 Прямой. А!

 Из камеры выходит служитель и вскоре возвращается назад. Все провожают его глазами.

 Васильева (тихо смеется). Что, Сергей Сергеич, не привыкли еще?

 Прямой. А? Ну-ну, привыкну. Что он, буйствовал или так?

 Васильева. Не знаю.

 Сиделка. Буйствовал. Насилу трое справились, так воевал. Такой уж он Мамай!

Обе сиделки тихо смеются.

 Прямой (строго). Ну-ну! Нечего тут зубы скалить.

 Входит из камеры Керженцева доктор Иван Петрович, у него слегка кривые колени, ходит переваливаясь.

 А, Иван Петрович, здравствуйте. Как там у вас?

 Иван Петрович. Ничего, ничего, прекрасно. Дайте-ка сигареточку. Что, на дежурстве сегодня?

 Прямой. Да, на дежурстве. Да услыхал, что у вас тут что-то, зашел посмотреть. Сам хотел прийти?

 Иван Петрович. Хотел, да теперь незачем. Кажется, засыпает, я ему такую дозу вкатил... Так-то, батенька, так-то. Сергей Сергеевич, так-то, душечка. Крепкий господин Керженцев человек, хотя по подвигам ихним можно было ожидать и большего. Подвиг-то его знаете?

 Прямой. Ну как же. А отчего, Иван Петрович, вы не отправили его в изоляционную?

 Иван Петрович. Так обошлись. Сам идет! Евгений Иваныч!

 Оба врача бросают папиросы и принимают почтительно выжидающие позы. В сопровождении еще одного врача подходит профессор Семенов, внушительный, крупных размеров старик с исчерна-седыми волосами и бородой; вообще, он сильно облохмател и несколько напоминает крупного дворового пса. Одет обычно, без балахона. Здороваются. Сиделки отходят в сторону.

 Семенов. Здравствуйте, здравствуйте. Успокоился коллега?

 Иван Петрович. Да, Евгений Иваныч, успокоился. Засыпает. Я только что хотел идти доложить вам.

 Семенов. Ничего, ничего. Успокоился, и слава Богу. А что за причина, или так, от погоды?

 Иван Петрович. То есть частью от погоды, а частью жалуется, что беспокойно, спать не может, сумасшедшие орут. Вчера с Корниловым опять припадок был, полночи завывал на весь корпус.

 Семенов. Ну, этот Корнилов мне самому надоел. Керженцев опять писал, что ли?

 Иван Петрович. Пишет! Надо бы у него эти писания отобрать, Евгений Иваныч, мне кажется, что это также одна из причин...

 Семенов. Ну-ну, отобрать! Пусть себе пишет. Он интересно пишет, потом почитаете, я читал. Рубашку надели?

 Иван Петрович. Пришлось.

 Семенов. Как заснет, снимите тихонько, а то неприятно будет, как в рубашке проснется. Он ведь ничего помнить не будет. Пусть, пусть себе пишет, вы ему не мешайте, бумаги дайте побольше. На галлюцинации не жалуется?

 Иван Петрович. Пока еще нет.

 Семенов. Ну, и слава Богу. Пусть пишет, ему есть о чем поговорить. Перьев ему дайте побольше, коробку дайте, он перья-то ломает, когда пишет. Все подчеркивает, все подчеркивает! Вас ругает?

 Иван Петрович. Случается.

 Семенов. Ну-ну, он и меня поносит, пишет: а если вас, Евгений Иванович, в халат одеть, то кто будет сумашедший: вы или я?

Все тихо смеются.

 Иван Петрович. Да. Несчастный человек. То есть никаких симпатий мне он не внушает, но...

 Из двери выходит, осторожно прикрывая ее за собой, сиделка Маша. На нее смотрят.

 Маша. Здравствуйте, Евгений Иванович.

 Семенов. Здравствуйте, Маша.

 Маша. Иван Петрович, вас Антон Игнатьич просит, проснулся.

 Иван Петрович. Сейчас. Может быть, вам будет угодно, Евгений Иванович?

 Семенов. Нет уж, что его тревожить. Идите.

 Иван Петрович следом за сиделкой входит в камеру. Некоторое время все смотрят на запертую дверь. Там тихо.

 Превосходная женщина, эта Маша, моя любимица.

 Третий врач. Дверей только никогда не замыкает. Оставить ее распоряжаться, так ни одного больного не останется, разбегутся. Я жаловаться вам хотел, Евгений Иваныч.

 Семенов. Ну, ну, жаловаться! Другие запрут, а и убежит так убежит, поймаем. Превосходная женщина, Сергей Сергеевич, вы вот к ней присмотритесь, вам это внове. Не знаю, что

в ней есть такое, но чудесно действует на больных, да и здоровых - оздоровляет! Этакий прирожденный талант здоровья, душевный озон.

Садится и вынимает папиросу. Ассистенты стоят.

 Что же вы не курите, господа?

 Прямой. Я только что... (Закуривает.)

 Семенов. Я бы на ней женился, до того она мне нравится; пусть книжками моими печку подтапливает, она и это может.

 Третий врач. Это она может.

 Прямой (улыбаясь почтительно). Что ж, вы холостой, Евгений Иваныч, женитесь.

 Семенов. Не пойдет, за меня ни одна женщина не пойдет, я на старую собаку, говорят, похож.

Тихо смеются.

 Прямой. А как ваше мнение, профессор, это очень интересует меня: доктор Керженцев действительно ненормален или же только симулянт, как он теперь уверяет? Как поклонника Савелова, случай этот в свое время меня чрезвычайно взволновал, и ваше авторитетное мнение, Евгений Иваныч...

 Семенов (качнув головой в сторону камеры). Видали?

 Прямой. Да, но этот припадок ничего еще не доказывает. Бывают случаи...

 Семенов. И не доказывает и доказывает. Что говорить? Я этого Керженцева Антона Игнатьевича знаю пять лет, лично знаком, и человек он всегда был странный...

 Прямой. Но это еще не сумасшествие?

 Семенов. Это еще не сумасшествие, вон и про меня рассказывают, что я странный; да и кто не странный-то?

Из камеры выходит Иван Петрович, на него смотрят.

 Иван Петрович (улыбаясь). Просит снять рубашку, обещается, что не будет.

 Семенов. Нет, рано еще. Был он у меня - мы про вашего Керженцева говорим, - и перед самым почти убийством, советовался о здоровьи, кажется, хитрил, и что вам сказать? По моему мнению, ему действительно каторгу надо, хорошую каторгу лет на пятнадцать. Пусть проветрится, кислородцем подышит!

 Иван Петрович (смеется). Да, кислород.

 Третий врач. Не в монастырь же его!

 Семенов. В монастырь не в монастырь, а к людям припустить его надо, он и сам каторги просит. Так я и мнение свое ставлю. Понастроил капканов да сам в них и сидит, пожалуй, и не на шутку свихнется. А жалко будет человека.

 Прямой (задумавшись). А страшная это вещь - голова. Стоит немного покачнуться и... Так иногда и про себя подумаешь: а кто я сам-то, если хорошенько рассмотреть? А?

 Семенов (встает и ласково треплет Прямого по плечу). Ну-ну, молодой человек! Не так страшно! Кто про себя думает, что он сумасшедший, тот еще здоровый - а сойдет, тогда и думать перестанет. Все равно как смерть: страшна, пока жив. Вот мы, которые постарше, должно быть, давно уж с ума посошли; ничего не боимся. Посмотрите на Ивана Петровича!

Иван Петрович смеется.

 Прямой (улыбается). Все-таки беспокойно, Евгений Иваныч. Непрочная механика.

 Издали доносится какой-то неопределенный, неприятный звук, похожий на вытье. Одна из сиделок быстро уходит.

 Что это?

 Иван Петрович (третьему врачу). Опять, вероятно, ваш Корнилов, чтоб ему пусто было! Всех измучил.

 Третий врач. Мне идти. До свидания, Евгений Иваныч.

 Семенов. Я сам к нему зайду, посмотрю.

 Третий врач. Да что, плох, едва ли неделю выдержит. Горит! Так я буду вас ждать, Евгений Иваныч.

Уходит.

 Прямой. А что Керженцев пишет, Евгений Иваныч? Я не из любопытства...

 Семенов. А пишет он хорошо, вертляво: и туда может, и сюда может - хорошо пишет! И когда доказывает, что здоровый, так и видишь сумасшедшего in optima forma1? а начнет доказывать, что сумасшедший - хоть на кафедру сажай, лекции читать молодым докторам, такой здоровый. Ах, господа вы мои молоденькие, не в том дело, что пишет, а в том, что - человек я есмь! Человек.

Входит Маша.

 Маша. Иван Петрович, больной заснул, можно служителей отпустить?

 Семенов. Отпустите, Маша, отпустите, сами только не уходите. Не обижает он вас?

 Маша. Нет, Евгений Иваныч, не обижает.

 Уходит. Вскоре из камеры выходят два дюжих служителя, стараются идти тихо, но не могут, стучат. Слышнее кричит Корнилов.

 Семенов. Так-то. А жалко, что у меня вид собачий, женился бы я на Маше; да и ценз я давно потерял. (Смеется.) Однако как соловей наш заливается, надо идти! Иван Петрович, пойдемте-ка, вы мне еще про Керженцева расскажете. До свидания, Сергей Сергеевич.

 Прямой. До свидания, Евгений Иванович.

 Семенов и Иван Петрович медленно уходят по коридору, Иван Петрович рассказывает. Доктор Прямой стоит, опустив голову, думает. Рассеянно ищет карман под белым балахоном, достает портсигар, папиросу, но не закуривает - забыл.

Занавес

КАРТИНА ШЕСТАЯ

 Камера, где находится Керженцев. Обстановка казенная, единственное большое окно за решеткой; дверь при каждом входе и выходе запирается на ключ, не всегда делает это, хотя и обязана, больничная сиделка Маша. Довольно много книг, которые выписал из дому, но не читает доктор Керженцев. Шахматы, в которые он играет часто, сам с собою разыгрывая сложные, многодневные партии.

 Керженцев в больничном халате. За время пребывания в больнице он похудел, волосы сильно отросли, но в порядке; от бессонницы глаза Керженцева имеют несколько возбужденный вид. В настоящую минуту он пишет свое объяснение экспертам-психиатрам. Сумерки, в камере уже темновато, но на Керженцева из окна падает последний синеватый свет. Становится трудно писать от темноты, Керженцев встает и поворачивает выключатель: вспыхивает сперва верхняя, на потолке, лампочка, потом та, что на столе, под зеленым абажурчиком. Снова пишет, сосредоточенно и угрюмо, шепотом считает исписанные листы.

 Тихо входит сиделка Маша. Белый казенный балахон ее очень чист, и вся она с своими точными и бесшумными движениями производит впечатлен чистоты, порядка, ласковой и спокойной доброты. Оправляет постель, что-то тихо делает.

 Керженцев (не оборачиваясь). Маша!

 Маша. Что, Антон Игнатьич?

 Керженцев. Хлораламиду в аптеке отпустили?

 Маша. Отпустили, я сейчас принесу, когда за чаем пойду.

 Керженцев (переставая писать, оборачивается). По моему рецепту?

 Маша. По вашему. Иван Петрович посмотрел, ничего не сказал, подписал. Головой только покачал.

 Керженцев. Головой покачал? Что же это значит: много, по его мнению, доза велика? Неуч!

 Маша. Не бранитесь, Антон Игнатьич, не надо, миленький.

 Керженцев. А вы ему сказали, какая у меня бессонница, что я ни одной ночи как следует не спал?

 Маша. Сказала. Он знает.

 Керженцев. Неучи! Невежды! Тюремщики! Ставят человека в такие условия, что вполне здоровый может сойти с ума, и называют это испытанием, научной проверкой!

Ходит по камере.

 Ослы! Маша, нынче ночью этот ваш Корнилов опять орал Припадок?

 Маша. Да, припадок, очень сильный, Антон Игнатьич, насилу успокоился.

 Керженцев. Невыносимо! Рубашку надевали?

 Маша. Да.

 Керженцев. Невыносимо! Он воет по целым часам, и никто не может его остановить! Это ужасно, Маша, когда человек перестает говорить и воет: человеческая гортань, Маша, не приспособлена к вытью, и оттого эти полузвериные звуки и вопли так ужасны. Хочется самому стать на четвереньки и выть. Маша, а вам, когда вы слышите это, не хочется самой завыть?

 Маша. Нет, миленький, что вы! Я ж здоровая.

 Керженцев. Здоровая! Да. Вы очень странный человек, Маша... Куда вы?

 Маша. Я никуда, я здесь.

 Керженцев. Побудьте со мной. Вы очень странный человек, Маша. Вот уже два месяца я приглядываюсь к вам, изучаю вас, и никак не могу понять, откуда у вас эта дьявольская твердость, непоколебимость духа. Да. Вы что-то знаете, Маша, но что? Среди сумасшедших, воющих, ползающих, в этих клетках, где каждая частица воздуха заражена безумием, вы ходите так спокойно, словно это... луг с цветами! Поймите, Маша, что это опаснее, чем жить в клетке с тиграми и львами, с ядовитейшими змеями!

 Маша. Меня никто не тронет. Я здесь уже пять лет, а меня никто даже не ударил, даже не обругал.

 Керженцев. Не в том дело, Маша! Зараза, яд, понимаете? - вот в чем дело. Ваши все доктора уже наполовину сумасшедшие, а вы дико, вы категорически здоровы! Вы ласковы с нами, как с телятами, и ваши глаза так ясны, так глубоко и непостижимо ясны, как будто и вовсе нет в мире безумия, никто не воет, а только поют песенки. Почему в ваших глазах нет тоски? Вы что-то знаете, Маша, вы, вы что-то драгоценное знаете, Маша, единственное, спасительное, но что? Но что?

 Маша. Ничего я не знаю, миленький. Живу, как Бог велел, а что мне знать?

 Керженцев (смеется сердито). Ну да, конечно, как Бог велел!

 Маша. И все так живут, не одна я.

 Керженцев (смеется еще сердитее). Ну, конечно, и все так живут! Нет, Маша, ничего вы не знаете, это ложь, и я напрасно цепляюсь за вас. Вы хуже соломинки. (Сердится.) Послушайте, Маша, вы бывали когда-нибудь в театре?

 Маша. Нет, Антон Игнатьич, никогда не была.

 Керженцев. Так. И вы неграмотны, вы не прочли ни одной книги. Маша, а Евангелие вы хорошо знаете?

 Маша. Нет, Антон Игнатьич, откуда ж знать. Только то и знаю, что в церкви читается, да и то разве много запомнишь! Я в церкви люблю бывать, да не приходится, некогда, работы много, дай Бог только на минутку вскочить, лоб перекрестить. Я, Антон Игнатьич, в церковь норовлю попасть, когда батюшка говорит: и вас всех, православных христиан - услышу это, вздохну, вот я и рада.

 Керженцев. Вот она и рада! Она ничего не знает, и она рада, и в глазах у нее нет тоски, от которой умирают. Чепуха! Низшая форма или... что или? Чепуха! Маша, а вы знаете, что земля, на которой вот мы сейчас с вами, что земля вертится?

 Маша (равнодушно). Нет, голубчик, не знаю.

 Керженцев. Вертится, Маша, вертится, и мы вертимся с нею! Нет, вы что-то знаете, Маша, вы что-то знаете, о чем не хотите сказать. Зачем Бог дал язык только дьяволам своим, а ангелы бессловесны? Может быть, вы ангел, Маша, но вы бессловесны - вы отчаянно не пара доктору Керженцеву! Маша, голубчик, вы знаете, что я скоро действительно сойду с ума?

 Маша. Нет, не сойдете.

 Керженцев. Да? А скажите, Маша, но только по чистой совести, за обман вас накажет Бог! Скажите по чистой совести: я сумасшедший или нет?

 Маша. Вы же сами знаете, что нет...

 Керженцев. Ничего я сам не знаю! Сам! Я вас спрашиваю!

 Маша. Конечно же, не сумасшедший.

 Керженцев. А убил-то я? Это что же?

 Маша. Значит, так хотели. Была ваша воля убить, вот и убили вы.

 Керженцев. Что же это? Грех, по-вашему?

 Маша (несколько сердито). Не знаю, миленький, спросите тех, кто знает. Я людям не судья. Мне-то легко сказать: грех, вертанула языком, вот и готово, а для вас это будет наказание... Нет, пусть другие наказывают, кому охота, а я никого наказывать не могу. Нет.

 Керженцев. А Бог, Маша? Скажи мне про Бога, ты знаешь.

 Маша. Что вы, Антон Игнатьич, как же я смею про Бога знать? Про Бога никто не смеет знать, не было еще такой головы отчаянной. Не принести вам чайку, Антон Игнатьич? С молочком?

 Керженцев. С молочком, с молочком... Нет, Маша, напрасно вы тогда вынули меня из полотенца, глупо вы сделали, мой ангел. На кой черт я здесь? Нет - на кой черт я здесь? Был бы я мертвый, и было бы мне спокойно... ах, хоть бы минута спокойствия! Мне изменили, Маша! Мне подло изменили, как только изменяют женщины, холопы и... мысли! Меня предали, Маша, и я погиб.

 Маша. Кто же вам изменил, Антон Игнатьич?

 Керженцев (ударяя себя по лбу). Вот. Мысль! Мысль, Маша, вот кто мне изменил. Вы видали когда-нибудь змею, пьяную змею, остервеневшую от яда? И вот в комнате много людей, и двери заперты, и на окнах решетки - и вот она ползает между, взбирается по ногам, кусает в губы, в голову, в глаза!.. Маша!

 Маша. Что, голубчик, вам нехорошо?

 Керженцев. Маша!

 Садится, зажав голову руками. Маша подходит и осторожно гладит его по волосам.

 Маша!

 Маша. Что, миленький?

 Керженцев. Маша!.. Я был силен на земле, и крепко стояли на ней мои ноги - и что же

теперь? Маша, я погиб! Я никогда не узнаю о себе правды. Кто я? Притворился ли я сумасшедшим, только убить, - или я действительно был сумасшедший, только потому и убил? Маша!..

 Маша осторожно и ласково отводит его руки от головы, гладит волосы.

 Маша. Прилягте на постельку, голубчик... Ах, миленький, и до чего мне вас жалко! Ничего, ничего, все пройдет, и мысли ваши прояснятся, все пройдет... Прилягте на постельку, отдохните, а я около посижу. Ишь сколько волос-то седеньких, голубчик вы мой, Антошенька...

 Керженцев. Ты не уходи.

 Маша. Нет, мне некуда идти. Прилягте.

 Керженцев. Дай мне платок.

 Маша. Нате, голубчик, это мой, да он чистенький, сегодня только выдали. Вытрете слезки, вытрете. Прилечь вам надо, прилягте.

 Опустив голову, глядя в пол, Керженцев переходит на постель, ложится навзничь, глаза закрыты.

 Керженцев. Маша!

 Маша. Я здесь. Я стул себе взять хочу. Вот и я. Ничего, что я руку вам на лоб положу?

 Керженцев. Хорошо. Рука у тебя холодная, теперь? Маша, я погиб! Я никогда не узнаю о себе правды. Кто я? Притворился ли я сумасшедшим, только убить, - или я действительно был сумасшедший, только потому и убил? Маша!..

 Маша осторожно и ласково отводит его руки от головы, гладит волосы.

 Маша. Прилягте на постельку, голубчик... Ах, миленький, и до чего мне вас жалко! Ничего, ничего, все пройдет, и мысли ваши прояснятся, все пройдет... Прилягте на постельку, отдохните, а я около посижу. Ишь сколько волос-то седеньких, голубчик вы мой, Антошенька...

 Керженцев. Ты не уходи.

 Маша. Нет, мне некуда идти. Прилягте.

 Керженцев. Дай мне платок.

 Маша. Нате, голубчик, это мой, да он чистенький, сегодня только выдали. Вытрете слезки, вытрете. Прилечь вам надо, прилягте.

 Опустив голову, глядя в пол, Керженцев переходит на постель, ложится навзничь, глаза закрыты.

 Керженцев. Маша!

 Маша. Я здесь. Я стул себе взять хочу. Вот и я. Ничего, что я руку вам на лоб положу?

 Керженцев. Хорошо. Рука у тебя холодная мне приятно.

 Маша. А легкая рука?

 Керженцев. Легкая. Смешная ты, Маша.

 Маша. Рука у меня легкая. Прежде, до сиделок, я в няньках ходила, так вот не спит, бывало, младенчик, беспокоится, а положу я руку, он и заснет с улыбкой. Рука у легкая, добрая.

 Керженцев. Расскажи мне что-нибудь. Ты что-то знаешь. Маша, расскажи мне, что ты знаешь. Ты не думай, я спать не хочу, я так глаза закрыл.

 Маша. Что я знаю, голубчик? Это вы все знаете, а я что ж могу знать? Глупая я. Ну, вот, слушайте. Раз это, девчонкой я была, случился у нас такой случай, что отбился от матери теленочек, и как она его, глупая, упустила! А уж к вечеру это было, и говорит мне отец: Машка, я направо пойду искать, а ты налево иди, нет ли в корчагинском лесу, покликай. Вот и пошла я, миленький, и только что к лесу подхожу, глядь волк-то из кустов и шасть!

Керженцев, открыв глаза, смотрит на Машу и смеется.

 Что вы смеетесь?

 Керженцев. Вы мне, Маша, как маленькому - про волка рассказываете! Что ж, очень страшный был волк?

 Маша. Очень страшный. Только вы не смейтесь, я не все еще досказала...

 Керженцев. Ну, довольно, Маша. Спасибо. Мне надо писать.

Встает.

 Маша (отодвигая стул и поправляя постель). Ну пишите себе. А чаю вам сейчас принести?

 Керженцев. Да, пожалуйста.

 Маша. С молоком?

 Керженцев. Да, с молоком. Хлораламид не забудьте, Маша.

Входит, почти столкнувшись с Машей, доктор Иван Петрович.

 Иван Петрович. Здравствуйте, Антон Игнатьич, добрый вечер. Послушайте, Маша, вы почему дверь не закрываете?

 Маша. А разве я не закрыла? А я думала...

 Иван Петрович. А я думала... Вы смотрите, Маша! Я последний раз вам говорю...

 Керженцев. Я не убегу, коллега.

 Иван Петрович. Не в том дело, а порядок, мы здесь сами на положении подчиненных. Ступайте, Маша. Ну как мы себя чувствуем?

 Керженцев. Чувствуем мы себя скверно, в соответствии с нашим положением.

 Иван Петрович. То есть? А вид у вас свежий. Бессонница?

 Керженцев. Да. Вчера мне целую ночь не давал спать Корнилов... так, кажется, его фамилия?

 Иван Петрович. А что, выл? Да, сильный припадок. Сумасшедший дом, батенька, ничего не пропишешь, или желтый дом, как говорится. А вид у вас свежий.

 Керженцев. А у вас, Иван Петрович, очень не свежий.

 Иван Петрович. Замотался. Эх, времени нет, а то игранул бы с вами в шахматы, вы ведь Ласкер!

 Керженцев. Для испытания?

 Иван Петрович. То есть? Нет, какой там - для невинного отдохновения, батенька. Да что вас испытывать? Вы сами знаете, что вы здоровехоньки. Будь бы моя власть, нимало не медля отправил бы вас на каторгу. (Смеется.) Каторгу вам надо, батенька, каторгу, а не хлораламид!

 Керженцев. Так. А почему, коллега, говоря это, вы не смотрите мне в глаза.

 Иван Петрович. То есть как в глаза? А куда же я смотрю? В глаза!

 Керженцев. Вы лжете, Иван Петрович!

 Иван Петрович. Ну-ну!

 Керженцев. Ложь!

 Иван Петрович. Ну-ну! Да и сердитый же вы человек, Антон Игнатьич, чуть что, сейчас же браниться. Не хорошо, батенька. Да и чего ради стану я врать?

 Керженцев. По привычке.

 Иван Петрович. Ну, вот. Опять!

Смеется. Керженцев угрюмо смотрит на него.

 Керженцев. А вы, Иван Петрович, на сколько бы лет засадили меня?

 Иван Петрович. То есть в каторгу? Да лет бы на пятнадцать, так я думаю. Много? Тогда можно и на десять, хватит для вас. Сами же хотите каторги, ну, вот и отхватайте годков десяточек.

 Керженцев. Сам хочу! - Хорошо, хочу. Значит, в каторгу? А? (Хмыкает угрюмо.) Значит, пусть господин Керженцев обрастает волосами, как обезьяна - а? А вот это, значит (стукает себя по лбу), к черту, да?

 Иван Петрович. То есть? Ну, да и свирепый же вы субъект, Антон Игнатьич, - очень! Ну-ну, не стоит. А я к вам вот зачем, дорогой мой: сегодня у вас будет гость, вернее, гостья... не волнуйтесь! А? Не стоит!

Молчание.

 Керженцев. Я не волнуюсь.

 Иван Петрович. Вот и прекрасно, что не волнуетесь: ей-Богу, нет на свете ничего такого, из-за чего стоило бы копья ломать! Нынче вы, а завтра я, как говорится...

Входит Маша и ставит стакан с чаем.

 Маша, барыня там?

 Маша. Там, в коридоре.

 Иван Петрович. Ага! Ступайте. Так вот?..

 Керженцев. Савелова?

 Иван Петрович. Да, Савелова, Татьяна Николаевна. Вы не волнуйтесь, дорогой мой, не стоит, хотя, конечно, я бы барыню не пустил: и не по правилам это, и действительно тяжелое испытание, то есть в смысле нервов. Ну, у барыни есть, очевидно, связи, начальство ей разрешило, а мы что? - мы люди подчиненные. Но, если вы не хотите, то ваша воля будет исполнена: то есть барыньку отошлем назад, откуда пришла. Так как же, Антон Игнатьич? Сможете выдержать эту марку?

Молчание.

 Керженцев. Смогу. Попросите сюда Татьяну Николаевну.

 Иван Петрович. Ну и прекрасно. И еще вот что, дорогой мой: при свидании будет присутствовать служитель... я понимаю, как это неприятно, но порядок, правила, ничего не пропишешь. Так вы уже не буяньте, Антон Игнатьич, не гоните его - я ж вам нарочно такого остолопа дал, что ни бе ни ме не понимает! Можете спокойно говорить.

 Керженцев. Хорошо. Просите.

 Иван Петрович. Бон вояж, коллега, до свидания. Не волнуйтесь.

 Выходит. Керженцев некоторое время один: быстро смотрится в маленькое зеркальце и поправляет волосы; подтягивается, чтобы казаться спокойным. Входит Татьяна Николаевна и служитель, последний становится около двери, ничего не выражает, лишь изредка конфузливо и виновато почесывает нос. Татьяна Николаевна в трауре, руки в перчатках, видимо, боится, что Керженцев протянет руку.

 Татьяна Николаевна. Здравствуйте, Антон Игнатьич.

Керженцев молчит.

 (Громче.) Здравствуйте, Антон Игнатьич.

 Керженцев. Здравствуйте.

 Татьяна Николаевна. Мне можно сесть?

 Керженцев. Да. Зачем пришли?

 Татьяна Николаевна. Я сейчас скажу. Как вы себя чувствуете?

 Керженцев. Хорошо. Зачем вы пришли? Я вас не звал, и я не хотел вас видеть. Если вы трауром и всем вашим... печальным видом хотите пробудить во мне совесть или раскаяние, то это был напрасный труд, Татьяна Николаевна. Как ни драгоценно ваше мнение о совершенном мною поступке, но я ценю только свое мнение. Я уважаю только себя, Татьяна Николаевна, - в этом отношении я не изменился.

 Татьяна Николаевна. Нет, я не за этим... Антон Игнатьич! Вы должны простить меня, я пришла просить у вас прощения.

 Керженцев (удивленно). В чем?

 Татьяна Николаевна. Простите меня... Он слушает нас, и мне неловко говорить... Теперь моя жизнь кончена, Антон Игнатьич, ее унес в могилу Алексей, но я не могу и не должна молчать

о том, что я поняла... Он нас слушает.

 Керженцев. Он ничего не понимает. Говорите.

 Татьяна Николаевна. Я поняла, что я одна была во всем виновата - без умысла, конечно, виновата, по-женски, но только я одна. Я как-то забыла, просто мне в голову не приходило, что вы можете еще любить меня, и я своей дружбой... правда, я любила быть с вами... Но это я довела вас до болезни. Простите меня.

 Керженцев. До болезни? Вы думаете, что я был болен?

 Татьяна Николаевна. Да. Когда в тот день я увидела вас таким... страшным, таким... нечеловеком, я, кажется, тогда же поняла, что вы сами только жертва чего-то. И... это не похоже на правду, но, кажется, еще в ту самую минуту, как вы подняли руку, чтобы убить... моего Алексея, я уже простила вас. Простите и вы меня.

 Тихо плачет, поднимает вуаль и под вуалем вытирает слезы.

 Простите, Антон Игнатьич.

 Керженцев молча ходит по комнате, останавливается.

 Керженцев. Татьяна Николаевна, послушайте! Я не был сумасшедшим. Это... ужасно!

Татьяна Николаевна молчит.

 Вероятно, то, что я сделал, хуже, чем если бы я просто, ну как другие, убил Алексея... Константиновича, но я не был сумасшедшим. Татьяна Николаевна, послушайте! Я что-то хотел преодолеть, я хотел подняться на какую-то вершину воли и свободной мысли... если только это правда. Какой ужас! Я ничего не знаю. Мне изменили, понимаете? Моя мысль, которая была моим единственным другом, любовницей, защитой от жизни; моя мысль, в которую одну только я верил, как другие верят в Бога, - она, она моя мысль стала моим врагом, моим убийцей! Посмотрите на эту голову - в ней ужас невероятный!

 Ходит. Татьяна Николаевна внимательно и со страхом смотрит на него.

 Татьяна Николаевна. Я вас не понимаю. Что вы говорите?

 Керженцев. При всей силе моего ума, думая, как... паровой молот, я теперь не могу решить: был ли я сумасшедший или здоровый. Грань потеряна. О, подлая мысль, - она может доказать и то и другое, а что же есть на свете, кроме моей мысли? Может быть, со стороны даже видно, что я не сумасшедший, но я этого никогда не узнаю. Никогда! Кому мне поверить? Одни мне лгут, другие ничего не знают, а третьих я, кажется, сам свожу с ума. Кто мне скажет? Кто скажет?

Садится и зажимает голову обеими руками.

 Татьяна Николаевна. Нет, вы были сумасшедший.

 Керженцев (вставая). Татьяна Николаевна!

 Татьяна Николаевна. Нет, вы были сумасшедший. Я не пришла бы к вам, если бы вы были здоровый. Вы сумасшедший. Я видела, как вы убивали, как вы поднимали руку... вы сумасшедший!

 Керженцев. Нет! Это было... исступление.

 Татьяна Николаевна. Зачем же тогда вы били еще и еще? Он уже лежал, он уже был... мертвый, а вы били, били! И у вас были такие глаза!

 Керженцев. Это неправда: я ударил только раз!

 Татьяна Николаевна. Ага! Вы забыли! Нет, не раз, вы ударили много, вы были, как зверь, вы сумасшедший!

 Керженцев. Да, я забыл. Как мог забыть? Татьяна Николаевна, слушайте, это было исступление, ведь это бывает же! Но первый удар...

 Татьяна Николаевна (кричит). Нет! Отойдите! У вас и сейчас такие глаза... Отойдите!

Служитель шевелится и делает шаг вперед.

 Керженцев. Я отошел. Это неправда. У меня такие глаза оттого, что у меня бессонница, оттого, что я невыносимо страдаю. Но умоляю вас, я когда-то любил тебя, и ты человек, ты пришла простить меня...

 Татьяна Николаевна. Не подходите!

 Керженцев. Нет, нет, я не подхожу. Послушайте... послушай! Нет, я не подхожу. Скажите, скажи... ты человек, ты благородный человек, и я тебе поверю. Скажи! Напряги весь твой ум и скажи мне спокойно, я поверю, скажи, что я не сумасшедший.

 Татьяна Николаевна. Стойте там!

 Керженцев. Я здесь. Я только хочу стать на колени. Помилуй меня, скажи! Подумай, Таня, как я ужасающе, как невероятно одинок. Не прощай меня, не надо, я не стою этого, но скажи правду. Ты же одна знаешь меня, они меня не знают. Хочешь, я дам тебе клятву, что, если ты скажешь, я убью себя, сам, сам отомщу за Алексея, пойду к нему...

 Татьяна Николаевна. К нему? Вы?! Нет, вы - сумасшедший. Да, да. Я вас боюсь!

 Керженцев. Таня!

 Татьяна Николаевна. Встаньте!

 Керженцев. Хорошо, я встал. Ты видишь, как я послушен, разве сумасшедшие бывают так послушны? Спроси его!

 Татьяна Николаевна. Говорите мне вы.

 Керженцев. Хорошо. Да, конечно, я не имею права, я забылся, и я понимаю, что вы сейчас ненавидите меня, ненавидите за то, что я здоровый, но во имя правды - скажите!

 Татьяна Николаевна. Нет.

 Керженцев. Во имя... убитого!

 Татьяна Николаевна. Нет, нет! Я ухожу. Прощайте! Пусть вас судят люди, пусть вас судит Бог, но я вас... прощаю! Это я довела вас до сумасшествия, и я ухожу. Простите меня.

 Керженцев. Постойте! Не уходите же! Так нельзя уходить!

 Татьяна Николаевна. Не трогайте меня рукой! Вы слышите!

 Керженцев. Нет, нет, я нечаянно, я отошел. Будем серьезны, Татьяна Николаевна, будем совсем как серьезные люди. Садитесь... или не хотите? Ну, хорошо, я тоже буду стоять. Так вот в чем дело: я, видите ли, одинок. Я одинок ужасно, как никто в мире. Честное слово! Видите ли, наступает ночь, и меня охватывает бешеный ужас. Да, да, одиночество!.. Великое и грозное одиночество, когда кругом ничего, зияющая пустота, понимаете? Не уходите же!

 Татьяна Николаевна. Прощайте!

 Керженцев. Одно только слово, я сейчас. Одно только слово! Одиночество мое!.. Нет, я больше не буду про одиночество! Скажите же, что вы поняли, скажите... вы не смеете уходить так!

 Татьяна Николаевна. Прощайте.

 Быстро выходит. Керженцев бросается за нею, но служитель загораживает ему дорогу. В следующую минуту с привычной ловкостью он выскальзывает сам и закрывает дверь перед Керженцевым. Керженцев бешено стучится кулаками, кричит:

 - Откройте! Я сломаю дверь! Татьяна Николаев" Откройте!

 Отходит от двери и молча хватается за голову, вцепляется руками в волосы. Так стоит.

Занавес